

М3031676(Д)



Вероника
ПРИМОВА

Сердце
чище родника

Вероника
Тушнова



Вероника
ТУШНОВА

Сердце чище
родника



Минск
Э К С М О
2 0 0 4

УДК 82-1
ББК 84(2Рос-Рус)6-5
Т 81

*Самое лучшее, самое любимое —
в книгах этой серии*

Серия основана в 2001 году

Составитель *Н. Розинская*

Оформление серии художника *Е. Ененко*

Т 81 **Тушнова В. М.**
Сердце чище родника: Стихотворения. —
М.: Изд-во Эксмо, 2004. — 352 с., ил.

ISBN 5-699-07114-8

Светлой грустью и верой в счастье проникнута поэзия замечательной поэтессы Вероники Тушновой. «Поэзия — не ряд зарифмованных строк, а живое сердце человека, в котором эти строки родились» — так определяла она суть поэтического творчества. Наверное, именно в этом секрет неувядающей популярности прозрачной, как родник, поэзии Вероники Тушновой.

УДК 82-1
ББК 84(2Рос-Рус)6-5

ISBN 5-699-07114-8

© Н. Ю. Розинская (наследница)
© Составление, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо». 2004



О ПОЭЗИИ¹

Меня часто спрашивают: «А когда вы начали писать стихи?» И мне всегда бывает трудно ответить на этот вопрос. Что понимать под словом «писать стихи»? Складывать фразы в правильно чередующиеся, зарифмованные строки и строфы? Если так, то я начала писать в самом раннем детстве, лет в шесть-семь...

...Солнышко светит и греет,
птичек слышны голоса...

Стихи у меня получались такими же гладкими и аккуратными, как многие из тех, которые я читала в детских книжках. И слова в них те же, и писать их было очень просто и легко. Я иногда брала тетрадку и говорила себе: а теперь я запишу про зиму. А теперь про весну. И это всегда удавалось.

¹ Публикуемая статья хранится в архиве В. Тушновой под названием «Молодым — о поэзии». (Прим. сост.)

Своим умением писать стихи я гордилась, но мысль о том, что, став взрослой, я буду продолжать это увлекательное, но отнюдь не серьезное занятие, мне и в голову не приходила. Повторяю — писать мне было очень легко.

Но вот однажды пропал без вести престарелый черный кот Буська, и мне захотелось увековечить в стихах это печальное событие. К своему немалому удивлению, я вдруг поняла, что написать об этом гораздо труднее, чем о зиме, весне или ручейке. И вполне понятно: ведь никто до меня не писал об этом. Никто, кроме меня, не знал нашего грузного, облезлого кота, его привычки спать в печке, его хриплого мяуканья, разорванного уха, манеру, привставая, толкать лбом в колени.

В данном случае я уже не могла пользоваться чужими и удобными и красивыми словами. Приходилось придумывать свои. Кроме того, мне было жалко кота и хотелось, чтобы другие пожалели его тоже. Все это налагало ответственность.

Я писала долго, и стихи получились гораздо хуже, чем обычно. Зато впервые в жизни закралось в меня подозрение, что все «сочиненное» мной ранее — совсем не хорошо и гордиться этим, пожалуй, не стоит. Во всяком случае, чи-

тать прежние стихи вслух мне было неловко и стыдно. С тех пор я начала прятать свои тетрадки подальше от посторонних глаз.

Было бы неверно сказать, что с этой минуты я стала поэтом. Сколько раз я еще поддавалась соблазну сложить стихотворение из чужих гладеньких и так хорошо, впритирку лежащихся кирпичиков.

Я была школьницей старших классов, когда ощутила необходимость написать замечательные стихи о любви. Только несколько лет спустя я смогла оценить действительные размеры постигшей меня неудачи. Стихи-то опять были не мои! Их наполняли грезы, слезы, луна, страдания. В них были удачные рифмы и редко-редко проскальзывала живая строка, согретая живым и подлинным чувством. И о любви и о страданиях я писала чисто отвлеченно, а поэзия этого не прощает.

Впоследствии, испытав и любовь, и горе, и разочарование и написав об этом стихи — в достаточной мере теплые и сердечные, я снова огорчилась: несмотря на «свои» слова, «свою» интонацию — это были все-таки неудачные стихи. В них говорилось о чувствах и переживаниях, сотни раз описанных до меня, и ничего нового нельзя

было в этих стихах обнаружить. В них не было мыслей. А ведь мысль — это тот стержень, на котором держится все стихотворение.

Не надо понимать этого примитивно. Мысль не должна назойливо выпирать из каждой строки, иногда в хороших стихах на первый взгляд она вообще отсутствует. Но это только на первый взгляд. Мысль существует, как говорится, в «подтексте». Читатель настолько проникается настроением, мироощущением автора, что сам делает необходимый и единственно возможный вывод, то есть мысль рождается за пределами стихотворения, и читатель становится как бы соавтором поэта. И такого рода поэзия, где автор щедро делится с читателем правом и радостью открытия, для нас очень дорога. Поэт как бы посылает читателя: иди вот этой тропинкой! А сам отлично знает, куда эта тропинка приведет.

Это не значит, что мысль не может быть выражена в стихотворении вполне открыто, в виде афоризма, заключенного в одной-двух строках. Существуют отличные стихи и такого рода. Одно только недопустимо — это чтобы мысль была назойлива, чтобы она насильственно навязывалась, чтобы она плавала на поверхности, а не вытекала

органически из всей ткани поэтического произведения.

Если нет в стихотворении поэтической мысли, вокруг которой группируются поэтические образы, последние начинают рассыпаться, многие из них при всей своей яркости оказываются лишними, немymi. Нет в таких стихах своего выраженного отношения автора к изображенным фактам и событиям, стихи получаются безыдейными.

Настоящая поэзия не может быть безыдейной. Пейзажные стихи, заставляющие читателя еще раз с еще большей остротой почувствовать, как он любит родные поля и леса, — это глубоко идейные стихи. Стихи, написанные о важнейших стройках, о героических делах, если они написаны не горячим сердцем поэта, а холодной рукой ремесленника, — безыдейны и вредны!

Чувства и мысли — вот что такое стихи. И, конечно, мастерство, потому что оно позволяет полнее и свежее выразить и чувства и мысли.

Так вот, когда я поняла, что опять пишу плохие стихи, я стала придумывать, а что бы такое оригинальное сказать. Надо ли объяснять, что из этого ничего не получилось. Думаю, что по-настоящему я стала писать во время войны.

Я работала в госпитале с утра до ночи и очень редко бралась за карандаш. Но сколько я передумала и перечувствовала за это время! И что самое удивительное, у меня появилось новое, никогда еще не испытанное мною чувство: мне вдруг захотелось, чтобы стихи мои узнали, прочли, мне хотелось своими стихами вмешаться в жизнь, что-то изменить в ней. Я понимала, как это трудно и ответственно, и все-таки эта мысль меня не покидала.

В 1944 году, когда я напечатала свои первые стихи, произошло событие, имевшее для меня громадное значение. В «Комсомольской правде» был опубликован цикл моих стихов под названием «Стихи о дочери». Я написала их действительно о своей маленькой дочке, и они мне казались слишком личными. Но их напечатали, и я была этим обрадована и встревожена. Но это не главное.

Главное то, что через некоторое время я стала получать письма со штемпелями полевой почты. Писали их самые разные люди. Были письма, написанные неуклюжим, корявым почерком, со множеством орфографических ошибок (самые для меня дорогие!). Но во всех этих письмах, в

тех или иных словах, говорилось одно: «Хорошо, что вы написали о наших детях!» Каким счастьем было для меня читать слово «наших»!

Значит, что же получилось? Я писала стихи о своей девочке, о своей Наташе, а они — бойцы, приславшие мне свои письма, считают, что я писала про их детей! Это была такая удача, о которой я не могла и мечтать.

Думая об этом, на первый взгляд непонятном явлении, я впервые столкнулась с силой поэтического обобщения. Впоследствии я неоднократно получала письма читателей — добрые и сердечные, но ни одно не доставило мне той радости, которую я испытывала, раскрывая треугольные конверты с номерами полевой почты. Как эти незнакомые люди помогли мне на моем творческом пути! Наверное, здесь и надо искать его начало.

Ну, что же сказать еще? Война прошла, а жизнь продолжала течь со всеми своими сложностями, тревогами, противоречиями. Вырастало новое поколение. Я написала много новых стихов — удачных и неудачных, снова и снова убеждаясь, как нелегко создать что-то действительно ценное. Я ни минуты не обольщалась надеждой чему-то научить своих молодых читате-

лей. Мне просто хотелось поделиться с ними своими размышлениями о жизни, воспоминаниями своей юности. Ведь даже у людей разных поколений есть много общего и дорогого.

И еще мне хотелось бы, чтобы это молодое поколение полюбило поэзию, чтобы оно видело в стихах не ряды зарифмованных строк, а живое сердце человека, в котором эти строки родились.

Вероника Тушнова





Мне
мало звезд,
мне
лучших песен
мало





ГОЛУБИ

Тусклый луч блестит на олове,
мокрых вмятинах ковша...
Чуть поваркивают голуби,
белым веером шурша.
Запрокидывают голову,
брызжут солнечной водой,
бродят взад-вперед по желобу
тропкой скользкой и крутой.
Бродят сонные и важные,
грудки выгнуты в дугу,
и блестят глаза их влажные,
как брусника на снегу.
Сад поник под зноем пярющим,
небо — синьки голубей...
— Ты возьми меня в товарищи,
дай потрогать голубей. —
Верно, день тот был удачливым —
ты ответил: — Ладно, лезь... —

Дребезжать ступеньки начали,
загремела гулко жесьть...
Мне расти мальчишкой надо бы —
у мальчишек больше льгот...
А на крыше — пекло адово,
сквозь подошвы ноги жжет.
Целый час с тобой стояли мы
(неужели наяву?),
птицы в небо шли спиралями,
упирались в синеву...
Воркованье голубиное,
смятый ковш, в ковше — вода...
А часы-то в детстве длинные —
и такие же года.
Кто их знал, что так прокатятся,
птичьей стайкой отсверкав...
Я ли это — в белом платице,
с белым голубем в руках?





СТИХИ О ГУДКЕ

Я с детства любила гудки на реке,
я вечно толклась у причала,
я все пароходы
еще вдалеке
по их голосам различала.
Мы часто таким пустяком дорожим,
затем что он с детства привычен.
Мне новый гудок показался чужим,
он был бессердечен и зычен.
И я огорчилась,
хотя я сюда
вернулась, заведомо зная,
что время иное, иные суда
и Волга-то, в общем, иная.
А все-таки он представлялся в мечте,
как прежде, густым, басовитым...
Мы вышли из шлюзов уже в темноте
и двинулись морем открытым.

Я не узнавала родные места,
где помнила каждую малость.
В безбрежности
пепельных вод широта
с темнеющим небом сливалась.
Рвал ветер низовый
волну на клочки,
скитался равниною пенной,
и только мигали в ночи маячки,
как звездочки в безднах вселенной.
Барометр падал,
и ветер крепчал,
зарница вдали полыхала,
и вдруг нелюбимый гудок закричал,
и вдруг я его услышала.
С чего же взяла я? Он вовсе не груб,
он речью своей безыскусной
похож на звучанье серебряных труб,
пронзительный, гордый и грустный...
Он, как тетива, трепетал над водой,
под стать поражающей шири,
такой необычный, такой молодой,
еще не обвыкшийся в мире.
И так покоряло его торжество,
его несвершенности сила,

что я не могла не влюбиться в него
и прежней любви изменила.
И нет сожаленья о прошлом во мне,
в неверности этой не каюсь...
Что делать — живу я
в сегодняшнем дне
и в завтрашнем жить
собираюсь!





КАПИТАНЫ

Не ведется в доме разговоров
про давно минувшие дела,
желтый снимок — пароход «Суворов» —
выцветает в ящике стола.

Попытаюсь все-таки взглядеться
пристальней в туман минувших лет,
увидать далекий город детства,
где родились мой отец и дед.

Утро шло и мглою к горлу липло,
салом шелестело по бортам...

Кашлял продолжительно и хрипло
досиня багровый капитан.

Докурив, в карманы руки прятал
и в белесом мареве зари
всматривался в узенький фарватер
Волги, обмелевшей у Твери.

И возникал перед глазами
причал на стынувшей воде

и домик в городе Казани,
в Адмиралтейской слободе.
Судьбу бродяжью проклиная,
он ждет — скорей бы ледостав...
Но сам не свой в начале мая,
когда вода растет в кустах

и подступает к трем оконцам
в густых гераневых огнях,
и, ослепленный мир обняв,
весь день роскошествует солнце;
когда прозрачен лед небес,
а лед земной тяжел и порист,
и в синем пламени по пояс
бредет красно-лиловый лес...
Горчащий дух набрякших почек,
колючий, клейкий, спиртовой,
и запах просмоленных бочек
и дегтя... и десятки прочих
тяжеловесною волной
текут с причалов, с неба, с Волги,
туманя кровь, сбивая с ног,
и в мир вторгается свисток —
привычный, хрипловатый, долгий...
Волны медлительный разбег
на камни расстиляет пену,

и осточертевают стены,
и дом бросает человек...
С трехлетним черноглазым сыном
стоит на берегу жена...
Даль будто бы растворена,
расплавлена в сиянье синем.
Гремят булыжником ободья
тяжелых кованых телег...
А пароход — как первый снег,
как лебедь в блеске половодья...
Пар вырывается, свистя,
лениво шлепаются плицы...
...Почти полсотни лет спустя
такое утро сыну снится.
Проснувшись, он к рулю идет,
не видя волн беспечной пляски,
и вниз уводит пароход
защитной, пасмурной окраски.
Бегут домишки по пятам,
и, бакен огибая круто,
отцовский домик капитан
как будто видит на минуту.
Но со штурвала своего
потом уже не сводит взгляда,
и на ресницах у него
тяжелый пепел Сталинграда.



СТАРЫЙ ДОМ

Сколько раз я мечтала
в долгой жизни своей
постоять, как бывало,
возле этих дверей.
В эти стены взглядеться,
в этот тополь сухой,
отыскать свое детство
за чердачной стрехой.
Но стою и не верю
многолетней мечте:
просто двери как двери.
Неужели же те?
Просто чье-то жилище,
старый розовый дом.
Больше, лучше и чище
то, что знаю о нем.
Вот ведь что оказалось:

на родной стороне
ничего не осталось, —
все со мной и во мне.
Зря стою я у окон
в тихой улочке той:
дом — покинутый кокон,
дом — навеки пустой.





* * *

Нынче детство мне явилось,
приласкало на лету.
Свежим снегом я умылась,
постояла на ветру.
Надышалась, нагладелась, —
ну какая красота!
Дня бессолнечного белость,
далее хвойная черта...
Снежно-снежно.
Тихо-тихо.
Звон в ушах — такая тишь.
В темных сенцах пахнет пихтой,
у порога — пара лыж.
Пара струганых дощечек,
самоделье детских рук.
Сколько вещей и не вещей
снов скитается вокруг...

Где таилось,
где хранилось?
Вдруг припомнил человек:
хлебным квасом пахнет силос,
спелой клюквой пахнет снег.





* * *

У каждого есть в жизни хоть одно,
свое, совсем особенное место.
Припомнишь двор какой-нибудь, окно,
и сразу в сердце возникает детство.

Вот у меня: горячий косогор,
в ромашках весь и весь пропахший пылью,
и бабочки. Я помню до сих пор
коричневые с крапинками крылья.

У них полет изменчив и лукав,
но от погони я не уставала —
догнать, поймать во что бы то ни стало,
схватить ее, держать ее в руках!

Не стало детства. Жизнь суровой, строже.
А все-таки мечта моя жива:
изменчивые, яркие слова
мне кажутся на бабочек похожи.

Я до рассвета по ночам не сплю,
я, может быть, еще упрямей стала —
поймать, схватить во что бы то ни стало!
И вот я их, как бабочек, ловлю.

И с каждым разом убеждаюсь снова
я в тщетности стремленья своего —
с пыльцой стертой, тускло и мертво
лежит в ладонях радужное слово.





* * *

Еще шуршат, звенят и шепчут капли,
с листвы катясь в пахучую траву.
И каждый звук в молчанье сада вкраплен,
как зерна звезд в ночную синеву.

Перед окном черемух горьких чащи,
как будто вниз упали облака.
На этот мир цветущий и звенящий
я не могу смотреть издалика.

Мне мало звезд — десятков, сотен, тысяч.
Моя тоска тревожна и остра.
Я так хочу хотя бы искру высечь
для твоего неяркого костра.

Далекие лучистые кристаллы.
Холодные небесные огни.
Мне мало звезд, мне лучших песен мало,
когда не мною созданы они.



* * *

Резкие гудки автомобиля,
сердца замирающий полет.
В облаках белесой крымской пыли
прячется нежданный поворот.

Полны звона выжженные травы.
Ветром с губ уносятся слова.
Слева склоны, склоны, а направо —
моря сморщенная синева.

Ветер все прохладнее. Все ближе
дальних гор скалистое кольцо.
Я еще до сумерек увижу
ваше загорелое лицо.

Но когда б в моей то было власти,
вечно путь я длила б, оттого
что минуты приближенья к счастью
много лучше счастья самого.



НОЧЬ

Ночь, как быть мне и как рассчитаться с тобою
за холодный закат, за асфальт голубой,
за огни, за твое колдовство молодое
над речной, смоляной, шелестящей водой?

Набегающий дождь, фонари и скольжение
маслянистых разводов по руслу реки...

Ты пришла, как внезапное опровержение
всех сомнений моих, всей тоске вопреки.

Глухо плещет вода о бетонное ложе.

Дождь рванулся по крышам. Уныло, темно...

Да... И все-таки так ты на счастье похожа,
что мне кажется — может быть, это оно.





* * *

Да, ты мой сон. Ты выдумка моя.
Зачем же ты приходишь ежечасно,
глядишь в глаза и мучаешь меня,
как будто я над выдумкой не властна?

Я позабыла все твои слова,
твои черты и годы ожиданья.
Забыла все. И все-таки жива
та теплота, которой нет названья.

Она, как зноя ровная струя,
живет во мне. И как мне быть иною?
Ведь если ты и выдумка моя —
моя любовь не выдумана мною.





ТРОПИНКА

Ночами такая стоит тишина,
стеклянная, хрупкая, ломкая.
Очерчена радужным кругом луна,
и поле дымится поземкою.

Ночами такое молчанье кругом,
что слово доносится всякое,
и скрипы калиток, и как за бугром
у проруби ведрами звякают.

Послушать, и кажется: где-то звучит
железная разноголосица.
А это все сердце стучит и стучит —
незрячее сердце колотится.

Тропинка ныряет в пыли голубой,
в глухом полыхании месяца.
Пойти по тропинке — и можно с тобой,
наверное, где-нибудь встретиться.



* * *

И знаю все, и ничего не знаю...
И не пойму, чего же хочешь ты,
с чужого сердца с болью отдирая
налегших лет тяжелые пласты.

Трещат и рвутся спутанные корни.
И вот, не двигаясь и не дыша,
лежит в ладонях, голубя покорней,
тобою обнаженная душа.

Тебе дозволена любая прихоть.
Но быть душе забавою не след.
И раз ты взял ее, так посмотри хоть
в ее глаза, в ее тепло и свет.





* * *

Помню празднество ветра и солнца,
эти лучшие наши часы,
и ромашек медовые донца,
побелевшие от росы.

Помню ржавые мокрые листья
в полусвете угасшего дня.
Горьких ягод озябшие кисти
ты с рябины срывал для меня.

Помню, снежные тучи повисли,
их кружила седая вода.
Все улыбки, и слезы, и мысли
я тебе отдавала тогда.

Я любила и холод вокзала,
и огней исчезающий след...
Я, должно быть, тогда еще знала —
так рождается песня на свет.



СОН

Мне все это снилось еще накануне,
в летящем вагоне, где дуло в окно...
Мне виделся город в дыму полнолуния,
совсем незнакомый, любимый давно.
Куда-то я шла переулком мощеным,
в каком-то дворе очутилась потом,
с наружной лестницей
и освещенным
зеленою лампой
чердачным окном.
И дворик, и облик старинного дома —
все было пугающе, страшно знакомо,
и, что-то чудесное вспомнить спеша,
во мне холодела от счастья душа.
А может, все было не так, а иначе,
забыто, придумано...
Будем честны:
что может быть неблагодарней задачи
невнятно и длинно рассказывать сны?

Коснись — и от сна отлетает дыханье,
с мерцающих крыльев слетает пыльца.
И — где оно, где оно? — то полыханье,
которое в снах озаряет сердца?

Но жизнь мне послала нежданную помощь:
я все отыскала — и город, и полночь,
и лестницу ту, и окошко в стене...
Мне память твердила: теперь-то ты помнишь?
А мне все казалось, что это во сне.





* * *

Всплески мерные
за бортами,
посвист свежего ветерка,
смутно дизелей бормотанье
долетает изглубока.
Берега обступают тесно
темным ельником и сосной,
удивительны и прелестны
тишиною своей лесной.
После долгих просторов моря,
где и берега не видать,
очень ласковы
эти взгорья,
сел прибрежная благодать.
И на нашем пути пройденном
представляется это мне
часом праздничным,
проведенным
с кем-то близким
наедине.



* * *

В альбомчике школьном снимки:
Сосны. Снега. Стога.
В рыже-лиловой дымке
давние берега.
Все, что тогда любила, —
выцвело, отошло.
Помнится только — было.
Ну, было — и хорошо!
Вечером на закате,
в особый июньский день,
девочки в белых платьях
в школу несут сирень.
Прошрое на закате
солнцем озарено.
Девочки в белом платье
нет на земле давно.
Это не боль, не зависть, —
юности милой вослед

смотрит не отрываясь
женщина средних лет.
Давнее теплое счастье
мимо нее прошло.
Кивнуло ей, усмехнулось
и скрылось... И хорошо!

И хорошо, что годы
изменчивы, как река.
Новые повороты,
новые берега.





ПРОЩАНИЕ

У дебаркадеров лопочет
чернильно-черная вода,
как будто высказаться хочет,
да не умеет — вот беда!
Как будто бы напомнить хочет
о важном, позабытом мной,
и все вздыхает, все бормочет
в осенней теми ледяной.
Мой давний город, город детства
в огнях простерт на берегу.
Он виден мне, а вот взглядеться
в себя, былую, не могу.
Чувств неосвоенная область,
смятенных дум круговорот.
Напрасно старенький автобус
меня на набережной ждет.
Ах, если б не рассудка строгость
и не благоразумья власть!

Но тонко просвистела лёгость,
и связь, как нить, оборвалась.
И вот уже клубит сугробы
и за кормой шумит вода,
и город в ночь уходит, чтобы
не воротиться никогда.
И не сказать, как это грустно,
и взять бы кинуться вослед...
Но жизнь с трудом меняет русло,
когда тебе не двадцать лет.





* * *

Я помню, где-то,
далеко вначале,
наплававшись до дрожи поутру,
на деревенском стареньком причале
сушила я косенки на ветру.

Сливались берега за поворотом,
как два голубо-сизые крыла,
и мне всегда узнать хотелось:
что там?

А там, за ними,
жизнь моя была.

И мерялась, как водится, годами,
и утекали годы, как вода...

Я знаю, что
за синими горами,
и не хочу заглядывать туда.



* * *

О память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной...

К. Батюшков

Память сердца! Память сердца!
Без дороги бродишь ты, —
луч, блуждающий в тумане,
в океане темноты.

Разве можно знать заранее,
что полюбится тебе,
память сердца, память сердца,
в человеческой судьбе?

Может, в городе — крылечко,
может, речка, может, снег,
может, малое словечко,
а в словечке — человек!

Ты захватишь вместо счастья
теплый дождь, долбящий жуть,

пропыленную ромашку
солнцу можешь предпочесть!..

Госпитальные палаты,
костылей унылый скрип...
Отчего-то предпочла ты
взять с собою запах лип.

И теперь всегда он дышит
над июньскою Москвой
той военной тревогой,
незабвенною тоской...

А когда во мгле морозной
красный шар идет на дно —
сердце бьется трудно, грозно,
задыхается оно...

Стук лопаты, комья глины,
и одна осталась я...
Это было в час заката,
в первых числах января.

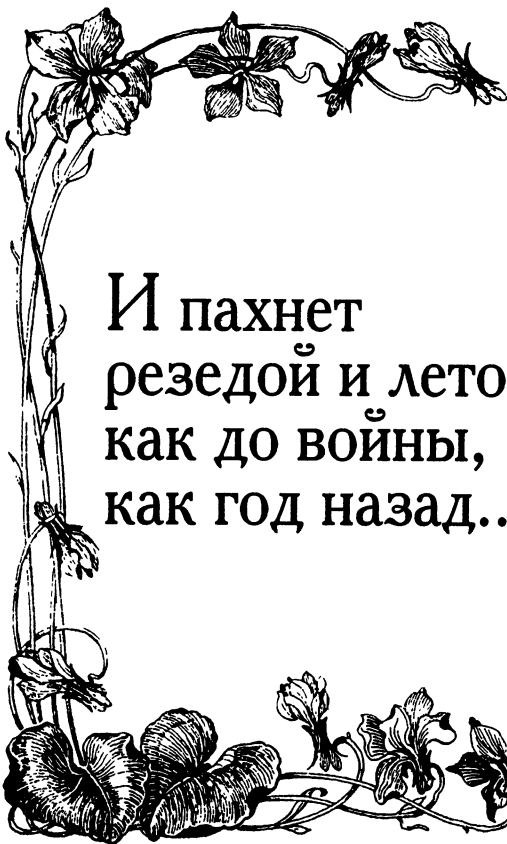
А когда в ночи весенней
где-то кличет паровоз,
в сердце давнее смятенье,
счастье, жгучее до слез!

Память сердца! Память сердца!
Где предел тебе, скажи!

Перед этим озареньем
отступают рубежи.

Ты теплее, ты добрее
трезвой памяти ума...
Память сердца, память сердца,
ты — поэзия сама!





И пахнет
резедой и летом,
как до войны,
как год назад...





НОЧНАЯ ТРЕВОГА

Знакомый, ненавистный визг...
Как он в ночи тягуч и режущ!
И значит — снова надо вниз,
в неведенье бомбоубежищ.

И снова поиски ключа,
и дверь с задвижкой тугою,
и снова тельце у плеча,
обмякшее и дорогое.

Как нáзло, лестница крута, —
скользят по сбитым плитам ноги;
и вот навстречу, на пороге —
бормочущая темнота.

Здесь времени потерян счет,
пространство здесь неощутимо,
как будто жизнь, не глядя, мимо
своей дорогою течет.

Горячий мрак, и бормотанье
вполголоса. И только раз
до корня вздрагивает зданье,
и кто-то шепотом: «Не в нас».

И вдруг неясно голубой
квадрат в углу, на месте двери:
«Тревога кончилась. Отбой!»
Мы голосу не сразу верим.

Но лестница выводит в сад,
а сад омыт зеленым светом,
и пахнет резедой и летом,
как до войны, как год назад.

Идут на дно аэростаты,
покачиваясь в синеве.
И шумно ссорятся ребята,
ища осколки по примятой,
белесой утренней траве.





КУКЛА

Много нынче в памяти потухло,
а живет безделица, пустяк:
девочкой потерянная кукла
на железных скрещенных путях.

Над платформой пар от паровозов
низко плыл, в равнину уходя...
Теплый дождь шушукался в березах,
но никто не замечал дождя.

Эшелоны шли тогда к востоку,
молча шли, без света и воды,
полные внезапной и жестокой,
горькой человеческой беды.

Девочка кричала и просила
и рвалась из материнских рук, —
показалась ей такой красивой
и желанной эта кукла вдруг.

Но никто не подал ей игрушки,
и толпа, к посадке торопясь,
куклу затоптала у теплушки
в жидкую струящуюся грязь.

Маленькая смерти не поверит,
и разлуки не поймет она...
Так хоть этой крохотной потерей
дотянулась до нее война.

Некуда от странной мысли деться:
это не игрушка, не пустяк, —
это, может быть, обломок детства
на железных скрещенных путях.



.

.



В КУДИНОВЕ

Небо чисто, зелено и строго.
В закопченном тающем снегу
танками изрытая дорога
медленно свивается в дугу.

Где-то на лиловом горизонте
низкий дом, запорошенный сад...
Ты подумай только: как о фронте,
о деревне этой говорят, —

где в то лето солнечные слитки
падали в смолистый полумрак,
где у сделанной тобой калитки
как-то утром распустился мак.

Где ночами, за белесой пряжей,
ухала унылая сова,
где у маленькой девчурки нашей
складывались первые слова.

Как душе ни трудно и ни тяжело,
все равно забыть я не могу
шелковую мокрую ромашку,
девочку на солнечном лугу.

Как теперь там странно, незнакомо,
каждый куст на прежний не похож,
как, наверное, страшна у дома
пулемета бешеная дрожь.

Как, наверное, угрюм и мрачен,
слыша дальний, все растущий вой,
у калитки старой нашей дачи,
стиснув зубы, ходит часовой.





НОЧЬ
(Зима 1942 г.)

Смеясь и щуря сморщенные веки,
седой старик немислимо давно
нам подавал хрустящие чуреки
и молодое мутное вино.

Мы пили все из одного стакана
в пронзительно холодном погребке,
и влага, пенясь через край, стекала
и на землю струилась по руке.

Мы шли домой, когда уже стемнело
и свежей мглою потянуло с гор.
И встал до неба полукругом белым
морскою солью пахнувший простор.

От звезд текли серебряные нити,
и на изгибе медленной волны
дрожал блестящим столбиком Юпитер,
как отраженье крохотной луны.

А мы купались... И вода светилась...
И вспыхивало пламя под ногой...
А ночь была как музыка, как милость —
торжественной, сияющей, нагой.

.....

Зачем я нынче вспомнила про это?
Здесь только вспышки гаснущей свечи,
и темный дом, трясущийся от ветра,
и вьюшек стук в нетопленной печи.

Проклятый стук, назойливый, как Морзе!
Тире и точки... точки и тире...
Окно во льду, и ночь к стеклу примерзла,
и сердце тоже в ледяной коре.

Еще темней. Свеча почти погасла.
И над огарком синеватый чад.
А воткнул он в бутылку из-под масла
с наклейкой рваной — «Розовый мускат».

Как трудно мне поверить, что когда-то
сюда вино звенящее текло,
что знало зной и пенные раскаты
замасленное, мутное стекло!

Наверно, так, взглянув теперь в глаза мне,
хотел бы ты и все-таки не смог

увидеть снова девочку на камне
в лучах и пене с головы до ног.

Но я все та же, та же, что бывало...
Пройдет война, и кончится зима.
И если бы я этого не знала,
давно бы ночь свела меня с ума.





ЯБЛОКИ

Ю. Р.

Ты яблоки привез на самолете
из Самарканда лютою зимой,
холодными, иззябшими в полете
мы принесли их вечером домой.

Нет, не домой. Наш дом был так далеко,
что я в него не верила сама.
А здесь цвела на стеклах синих окон
косматая сибирская зима.

Как на друзей забытых, я глядела
на яблоки, склоняясь над столом,
и трогала упругое их тело,
пронизанное светом и теплом.

И целовала шелковую кожу,
и свежий запах медленно пила.
Их желтизна, казалось мне, похожа
на солнечные зайчики была.

В ту ночь мне снилось: я живу у моря.
Над морем зной. На свете нет войны.
И сад шумит. И шуму сада вторит
ленивое шуршание волны.

Я видела осеннюю прогулку,
сырой асфальт и листья без числа.
Я шла родным московским переулком
и яблоки такие же несла.

Потом с рассветом ворвались заботы.
В углах синел и колыхался чад...
Топили печь... И в коридоре кто-то
сказал: «По Реомюру — пятьдесят».

Но как порою надо нам немного:
среди разлук, тревоги и невзгод
мне легче сделал трудную дорогу
осколок солнца, заключенный в плод.





* * *

Словно засыпающий ребенок,
бормотал невнятное родник.
И казался трогательно тонок
полумесяц, вышедший на миг.

Помнится неловкое объятие
у приволжских шелковистых ив,
и как долго не могла понять я,
отчего со мной ты молчалив.

.....

Как невесел месяц на ущербе,
как поля озябшие пусты,
как мертвы на постаревшей вербе
свернутые в трубочку листы!

Мы с тобою тоже постарели:
каждому дорога нелегка...
От шершавого сукна шинели
разгорелась у меня щека.

Но спроси, и я тебе отвечу,
что за встречу, посланную нам,
за подаренный судьбою вечер
я любую молодость отдам.



.

.



* * *

Ты ложишься непривычно рано.
Прихожу, а комната темна.
Верно, спишь — я спрашивать не стану.
Света нет. И печка холодна.

Знаю, стосковалась ты по доме
долгою сибирскою зимой.
Взять тебя бы в теплые ладони,
отнести бы сонную домой.

Чтобы утром, как не расставались, —
круглый столик, снимок на стене...
Все, как раньше, все — любая малость,
издали любимая вдвойне.

Чтобы, воду зажигая в кружке,
ластясь у знакомого плеча,
пролегли от окон до подушки
два косых смеющихся луча.

Чтобы ты, глаза от света жмуря,
озадаченная тишиной,
поняла, что отгремела буря,
что прошла, не тронув, стороной.

За тебя, за твой беспечный вечер,
за покой усталого лица
всю бы тяжесть я взяла на плечи
и дошла бы с нею до конца.

За окном морозного тумана
мутная глухая пелена.
Я тебя обманывать не стану:
продолжается война.





ДОРОГА

До города двенадцать километров.
Шоссе как вымерло — ни человека...
Иду одна, оглохшая от ветра,
перехожу взлохмаченную реку.
Мы на реке с тобой бывали вместе,
когда-то шли по этой вот дороге...
Как увязают в чавкающем тесте
усталые по непривычке ноги.
Как больно хлещут ледяные плети,
какой пронзительный, угрюмый вечер,
и ни огня на целом божьем свете,
и от мешка оцепенели плечи.
В нем розовая крупная картошка,
пронизанная сыростью осенней.
Приду и стукну в крайнее окошко,
и мать с огарком отопрет мне сени.
Огонь запляшет, загудит в железке,
вода забулькает. А я раскрою дверцу

и сяду возле. И при жарком блеске
письмом вчерашним отогрею сердце.
И долгий путь сквозь мокрое ненастье
осенней ночью — хриплой и бездомной
мне кажется ничтожно малой частью
одной дороги — общей и огромной.





РАЗЛУКА

I

В руке сжимая влажные монеты,
я слушаю с бессмысленной тоской,
как в темноте, в слепом пространстве где-то,
звонок смеется в комнате пустой.

Я опоздала. Ты ушел из дома.
А я стою — мне некуда идти.
На ветровой простор аэродрома
в такую ночь не отыскать пути.

И я шепчу сквозь слезы: «До свиданья!
Счастливым путем, любимый человек!»
Ничтожная минута опоздания
мне кажется разлукою навек.

II

Утром на пути в аэропорт
улицы просторны и пусты.

Горизонт туманом полустерт,
розовеют почками кусты.
Вся в росе, младенчески мягка
вдоль шоссе топорщится трава.
В сердце с ночи забралась тоска —
каждая разлука такова.
На перроне — голубой забор,
тени бродят, на песке скользят...
Дальше — ветер, солнце и простор.
Дальше провожающим нельзя.
В облаках, стихая, как струна,
«Дуглас» чертит плавный полукруг.
Радость встреч была бы не полна
без щемящей горечи разлук.
За разлукой есть далекий час.
Как мы станем ждать его с тобой!..
Он всегда приходит в первый раз,
заново подаренный судьбой.





ОСЕНЬ

Нынче улетели журавли
на заре промозглой и туманной.
Долго, долго затихал вдали
разговор печальный и гортанный.

С коренастых вымокших берез
тусклая стекала позолота;
горизонт был ровен и белес,
словно с неба краски вытер кто-то.

Тихий дождь сочился без конца
из пространства этого пустого...
Мне припомнился рассказ отца
о лесах и топях Августова.

Ничего не слышно о тебе.
Может быть, письмо в пути пропало,
может быть... Но думать о беде —
я на это не имею права.

Нынче улетели журавли...
Очень горько провожать их было.
Снова осень. Три уже прошли...
Я теплее девочку укрыла.

До костей пронизывала дрожь,
в щели окон заползала сырость...
Ты придешь, конечно, ты придешь
в этот дом, где наш ребенок вырос.

И о том, что было на войне,
о своем житье-бытье солдата
ты расскажешь дочери, как мне
мой отец рассказывал когда-то.





МАТЬ

Года прошли,
а помню, как теперь,
фанерой заколоченную дверь,
написанную мелом цифру «шесть»,
светильника замасленную жечь,
кольшет пламя снежная струя,
солдат в бреду...

И возле койки — я.

И рядом смерть.

Мне трудно вспоминать,
но не могу не вспоминать о нем...
В Москве, на Бронной, у солдата — мать...
Я знаю их шестиэтажный дом,
московский дом...
На кухне примуса,
похожий на ущелье коридор,
горластый репродуктор,
вечный спор
на лестнице... ребячьи голоса...

Вбегал он, раскрасневшийся, в снегу,
пальто расстегивая на бегу,
бросал на стол с размаху связку книг —
вернувшийся из школы ученик.

Вот он лежит: не мальчик, а солдат,
какие тени темные у скул,
как будто умер он, а не уснул,
московский школьник... раненый солдат.

Он жить не будет.

Так сказал хирург.

Но нам нельзя не верить в чудеса,
и я отогреваю пальцы рук...

Минута... десять... двадцать... полчаса...

Снимаю одеяло — как легка
исколотая шприцами рука.

За эту ночь уже который раз
я жизнь держу на острие иглы.

Колючий иней выбелил углы,
часы внизу отбили пятый час...

О, как мне ненавистен с той поры
холодоватый запах камфары!

Со впалых щек сбегает синева,
он говорит невнятные слова,
срывает марлю в спекшейся крови...

Вот так. Еще. Не уступай! Живи!

...Он умер к утру, твой хороший сын,
твоя надежда и твоя любовь...

Зазолотилась под лучом косым
суровая мальчишеская бровь,
и я таким увидела его,
каким он был на Киевском, когда
в последний раз,
печальна и горда,
ты обняла ребенка своего.

.....

В осеннем сквере палевый песок
и ржавый лист на тишине воды...
Все те же Патриаршие пруды,
шестиэтажный дом наискосок,
и снова дети роются в песке...
И, может быть, мы рядом на скамью
с тобой садимся.
Я не узнаю
ни добрых глаз, ни жилки на виске.
Да и тебе, конечно, невдомек,
что это я заплакала над ним,
над одиноким мальчиком твоим,
когда он уходил.
Что одинок
тогда он не был...
Что твоя тоска
мне больше,
чем кому-нибудь, близка...



ХИРУРГ

Н. Л. Чистякову

Порой он был ворчливым оттого,
что полшага до старости осталось.
Что, верно, часто мучила его
нелегкая военная усталость.

Но молодой и беспокойный жар
его хранил от мыслей одиноких —
он столько жизней бережно держал
в своих ладонях, умных и широких.

И не один, на белый стол ложась,
когда терпеть и покоряться надо,
узнал почти божественную власть
спокойных рук и греющего взгляда.

Вдыхал эфир, слабел и, наконец,
спеша в лицо неясное взглядеться,
припоминал, что, кажется, отец
смотрел вот так когда-то в раннем детстве.

А тот и в самом деле был отцом
и не однажды с жадностью бессонной
искал и ждал похожего лицом
в молочном свете операционной.

Своей тоски ничем не выдал он,
никто не знает, как случилось это, —
в какое утро был он извещен
о смерти сына под Одессой где-то...

Не в то ли утро, с ветром и пургой,
когда, немного бледный и усталый,
он паренька с раздробленной ногой
сынком назвал, совсем не по уставу.





ПИСЬМО .

Хмуρο встретили меня в палате.
Оплавала на столе свеча.
Человек метался на кровати,
что-то исступленное крича.

Я из стиснутой руки солдата
осторожно вынула сама
неприглядный, серый и помятый
листик деревенского письма.

Там, в письме, рукою неумелой
по-печатному писала мать,
что жива, а хата погорела
и вестей от брата не слышать.

Что немало горя повидали,
что невздам не было конца,
что жену с ребенком расстреляли,
уходя, у самого крыльца.

Побледневший, тихий и суровый
в голубые мартовские дни
он ушел в своей шинели новой,
затянув скрипучие ремни.

В коридоре хрустнул пол дощатый,
дверь внизу захлопнулась, звеня.
Человек, не знающий пощады,
шел вперед, на линию огня.

Шел он, плечи крепкие сутуля,
нес он ношу — ненависть свою.
Только бы его шальная пуля
не задела где-нибудь в бою...

Только не рванулась бы граната,
бомба не провыла на пути,
потому что ненависть солдату
нужно до Берлина донести!





* * *

Летел сквозь бурю лунный круг,
и ветер тучи рвал.
Письмо мне передал твой друг
проездом на Урал.

Спеша, конверт, промокший весь,
я тут же сорвала.
И не могла письма прочесть —
такая тьма была.

И только свет, неверный свет
октябрьской луны
упал на маленький портрет
с летящей вышины.

И поняла я по чертам
неясного лица,
что ты, конечно, будешь там
до самого конца.

И пожалела об одном:
что разный путь у нас,
что я не в городе родном
в такой тяжелый час.





* * *

В оцепененье стоя у порога,
я слушаю с бессмысленной тоской,
как завывает первая тревога
над черною, затихшею Москвой.
Глухой удар,
бледнеющие лица,
колючий звон разбитого стекла,
но детский сон сомкнул твои ресницы.
Как хорошо, что ты еще мала...

Десятый день мы тащимся в теплушке,
в степи висит малиновая мгла,
в твоих руках огрызок старой сушки.
Как хорошо, что ты еще мала...

Четвертый год отец твой не был дома,
опять зима идет, белым-бела,
а ты смеешься снегу молодому.
Как хорошо, что ты еще мала...

И вот — весна.
И вот — начало мая.
И вот — конец!
Я обнимаю дочь.

Взгляни в окошко,
девочка родная!
Какая ночь!
Смотри, какая ночь!

Текут лучи, как будто в небе где-то
победная дорога пролегла.
Тебе ж видны одни потоки света...
Как жалко мне, что ты еще мала!





* * *

Спокойный вечер пасмурен и мглист.
Не слышно птиц среди древесных кружев.
Пустынна улица. Последний ржавый лист
в морозном воздухе легчайший ветер кружит.

Любимая осенняя пора.
На облаках — сиреневые блики,
на светлых лужицах каемка серебра,
и над землей — покой, безмерный и великий.

Как лживо все: и эта тишина,
и мягкий полог облачных волокон...
Как пристально в глаза людей война
глядит пустыми впадинами окон.





Из цикла

«СТИХИ О ДОЧЕРИ»

Наташе

I

Душная, безлунная
наступила ночь.

Все о сыне думала,
а сказали: «Дочь».

Хорошо мечтается
в белизне палат...
Голубые лампочки
у дверей горят.

Ветер стукнул форточкой,
кисею струя.

Здравствуй, милый сверточек,
доченька моя!

Все такое синее,
на столе — цветы.
Думала о сыне я,
а родилась — ты.

Ты прости, непрошенный
ежик сонный мой.
Я тебя, хорошую,
отвезу домой.

Для тебя на коврике
вышита коза,
у тебя, наверное,
синие глаза...

Ну... а если серые —
маме все равно.

.....

Утро твое первое
смотрится в окно.

III

Ты счета не ведешь годам,
встречая только третье лето.
Твоих мгновений череда
туманом солнечным одета.

Уколы маленьких обид
тебя еще не могут ранить,
и огорчений не хранит
твоя ребяческая память.

И, милой резвости полна, —
как знать ребенку тяжесть ноши? —
ты слово новое — «война» —
лепечешь, хлопая в ладоши.

IV

Вагон бросало и качало.
Молчали все. А вечер гас.
И каждый знал: еще начало,
еще неясный первый час.

Казалось мне: за далью алой
гремят грядущие бои...
Но как бессильно я сжимала
ручонки пыльные твои!

А после ночь. Без искры света
свершался необычный путь.
Скажи, ответ — ты помнишь это?
И если помнишь — позабудь.

Живи, цветам и песням рада,
смеясь, горя и любя,
а помнить этого не надо:
я буду помнить за тебя.

Тревога. Грусть. Приходит почтальон —
ни весточки о милом человеке...

А городок метелью занесен
до самых крыш. И, кажется, навеки.

Наш новый дом в сугробах под горой,
к нему бежит петлистая дорожка,
в нем есть окно за ледяной корой,
печурка есть, горячая картошка.

Есть девочка. Зеленые глаза,
лукавый рот и бантик цвета мака.
Есть девочка. При ней нельзя заплакать,
при ней нельзя о горьком рассказать.

Она поймет. С недетской теплотой
ладошки мягкие ко мне на плечи лягут...
Нельзя при ней, при маленькой такой, —
ей рано знать печаль житейских тягот.

Я напишу ей буквы на листе,
я нарисую зайчика в тетради.
Я засмеюсь — ее улыбки ради.
Я буду плакать после, в темноте...

VII

А круг все ширится. В него вовлечены
природа, люди, города и войны.
Теперь ей книжки пестрые нужны,
упав, она не говорит, что больно.

Не любит слово скучное «нельзя»,
все льнет ко мне, работать мне мешая.
Как выросла! Совсем, совсем большая,
мы с ней теперь хорошие друзья.

Она со мною слушает салюты,
передвигает красные флажки
и, Прут найдя на карте в полминуты,
обводит пальцем ниточку реки.

Понятлива, пытлива и упряма.
На многое ответы ей нужны.
Она меня спросила как-то: «Мама,
а было так, что не было войны?»

Да. Было так. И будет, будет снова.
Как хорошо тогда нам станет жить!
Ты первое услышанное слово
еще успеешь в жизни позабыть.



САЛЮТ

Мы час назад не думали о смерти.
Мы только что узнали: он убит.
В измятом, наспех порванном конверте
на стуле извещение лежит.

Мы плакали. Потом молчали обе.
Хлестало в стекла дождиком косым...
По-взрослому нахмутив круглый лобик,
притих ее четырехлетний сын.

Потом стемнело. И внезапно, круто
ракетами врезаясь в вышину,
волна артиллерийского салюта
тяжелую качнула тишину.

Мне показалось, будет очень трудно
сквозь эту боль и слезы видеть ей
цветенье желтых, красных, изумрудных
над городом ликующих огней.

Но только я хотела синей шторой
закрыть огни и море светлых крыш,

мне женщина промолвила с укором:
«Зачем? Пускай любитесь малыш».

И, помолчав, добавила устало,
почти уйдя в густеющую тьму:
«...Мне это все еще дороже стало —
ведь это будто памятник ему».





БЕЖЕНЕЦ

Он из теплушки на траву горячую
по-стариковски прыгнул тяжело.
В косых лучах столбы вдали маячили,
и все в степи жужжало и цвело.

Внезапная прохлада наплывала,
вода журчала в чаше ивняка,
и эту воду пили у привала
и брали в чайник вместо кипятка.

Старик лежал, глазами безучастными
следя за колыханьем колоска.
Десятками травинок опоясанный,
зеленый мир качался у виска.

Июльский воздух, раскаленный, зримый,
над степью тек. Старик лежал на дне.
Все, не касаясь, проходило мимо.
Он жил все там — в своем последнем дне.

Такое же вот солнце заходящее,
бормочущего сада забытье,
мычанье стада и в кустах блестящее
днестровское тяжелое литье.

От памяти нам никуда не деться,
не выжечь в мыслях прошлого огнем,
но если лучше в прошлое взглядеться,
увидеть можно будущее в нем.





ГОРОДОК

Не прозвучит ни слово, ни гудок
в развалинах, задохшихся от дыма.
Лежит убитый русский городок,
и кажется — ничто непоправимо.

Еще в тревожном зареве закат
и различимы голоса орудий,
а в городок уже приходят люди.
Из горсти пьют, на дне воронки спят.

И снова дым. Но дым уже другой —
теперь он пахнет теплотой и пищей.
И первый сруб, как первый лист тугой,
из черного выходит корневища.

И медленная светлая смола,
как слезы встречи, катится по стенам.
И верят люди: жизнь благословенна,
как бы она сурова ни была!



В ЛЕСУ

Навстречу сосны. Нет конца им...
День ярче, выше, горячей,
но хвойный кров непроницаем
для ливня солнечных лучей.

Лишь кое-где во мраке вкраплен
как будто золота кусок.
И с веток солнечные капли
сочатся в розовый песок.

В лесу торжественно и тихо...
Но я не слышу тишины, —
еще не умер отзвук дикой,
железной музыки войны.

И с молодой березкой рядом,
ее шуршанием одет,
стоит расщепленный снарядом
сосны обугленный скелет.



ПТИЦА

Бои ушли. Завесой плотной
плывут туманы вслед врагам,
и снега чистые полотна
расстелены по берегам.

И слышно: птица птицу кличет,
тревожа утреннюю стынь.
И неприютен голос птичий
среди обугленных пустынь.

Он бьется, жалобный и тонкий,
о синеву речного льда,
как будто мать зовет ребенка,
потерянного навсегда.

Кружит он в скованном просторе,
звения немислимой тоской,
как будто человечье горе
осталось плакать над рекой.



КОСТЕР

Чахлый лес, сквозной, багряно-рыжий,
заткан солнцем вдоль и поперек.
Как сейчас я этот полдень вижу,
красный от брусники бугорок.

Корчится атласная берёста
на почти невидимом костре.
Мне с тобою весело и просто,
как девчонке, школьнице, сестре.

Наверху негреющая просинь,
зябких листьев вековечный спор.
Мы придем на будущую осень
в эту рощу разложить костер.

А на осень бушевала буря.
Ты вернулся без меня, один.
Потерялся в непривычном гуле
лепет перепуганных осин.

И в шинели серой, с автоматом
у березовых атласных ног
ты прилег за круглый и примятый
красный от брусники бугорок.

И пошли, пошли пути-дороги
колесить на тысячи ладов.
И стоишь теперь ты на пороге
незнакомых прусских городов.

Верно, скоро выйдет срок разлуке.
И, придя в знакомые места,
отогреем мы сердца и руки
у родного русского костра.





ДОМОЙ

Сквозь дрему глухую, предутренний сон
я чувствую: поезд идет под уклон.

Прильнула к окну шелестящая муть,
легчайшим изгибом свивается путь.

И в свете февральских расплывчатых звезд
в двенадцать пролетов над Волгою мост.

В мерцанье рассвета уходит река.
Лесами скользит эшелона змея.
На запад, на запад, где дремлет Москва,
где в облаке сизом — родная моя.

Я завтра увижу покинутый дом,
я завтра приду к дорогому крыльцу —
приду и немного помедлю на нем,
дорожный платок прижимая к лицу.

Я вспомню о щелях в садовой тени,
о вое тревог по ночам и о том,
как мы в беспокойные первые дни
полоски на стекла клеили крестом.

И самое горькое вспомнится мне:
взволнованный, людный вечерний вокзал,
и небо в щемящем закатном огне,
и что мне любимый, целуя, сказал.

Мне этого часа вовек не забыть.
Да разве мы прежде умели любить?
Да разве мы знали, что значит война,
как будет разлука горька и длинна?

...На запад скользит эшелона змея,
все ближе мой город, отчизна моя!





* * *

Вот и город. Первая застава.
Первые трамваи на кругу.
Очень я, наверное, устала,
если улыбнуться не могу.

Вот и дом. Но смотрят незнакомо
стены за порогом дорогим.
Если сердце не узнало дома,
значит, сердце сделалось другим.

Значит, в сердце зажилась тревога,
значит, сердце одолела грусть.
Милый город, подожди немного, —
я смеяться снова научусь.





Только мне
не солгать бы
ни в чем,
никогда, никому!





* * *

Сколько милых ровесников
в братских могилах лежит.
Узловатая липа
родительский сон сторожит.
Все беднее теперь я,
бесплотнее день ото дня,
с каждой новой потерей
все меньше на свете меня.
Черноглазый ребенок...
Давно его, глупого, нет.
Вместо худенькой девушки —
плоский бумажный портрет.
Вместо женщины юной
осталась усталая мать.
Надлежит ей исчезнуть...
Но я не хочу исчезать!
Льются годы рекою,
сто обличий моих хороня,

только с каждой строкою
все больше на свете меня.
Оттого все страшнее мне
браться теперь за перо,
оттого все нужнее
разобраться, где зло, где добро.
Оттого все труднее
бросать на бумагу слова:
вот, мол, люди, любуйтесь,
глядите, мол, я какова!
Чем смогу заплатить я
за эту прекрасную власть,
за высокое право
в дома заходить не стучась?
Что могу?
Что должна я?
Сама до конца не пойму...
Только мне не солгать бы
ни в чем,
никогда,
никому!





* * *

Насыпает камешки в ведерки,
носит от скамейки до ворот...
Я стою на солнечном пригорке
в первый раз в пилотке, в гимнастерке...
Девочка меня не узнает.

Я сама себя бы не узнала
три недолгих месяца назад...
Вдруг она взгляделась, подбежала,
засмеялась: «Мама, ты солдат?»

Жестяные пыльные ведерки
раскидала посреди двора...
Для нее пока еще игра —
новый двор и мама в гимнастерке.





* * *

Уходит день. В углах синее тени.
Бледнеют туч румяные края.
Ко мне, как медвежонок, на колени,
карабкается девочка моя.

Беру ее, касаюсь шейки тонкой,
откидываю волосы со лба.
Она смеется беззаботно, звонко,
она со мной, храни ее судьба!

В такое время нелегко на свете,
и много в жизни сожжено дотла.
Я никогда не думала, что дети
приносят столько мира и тепла.





ПРИБОЙ

У сутулых камней качало
незнакомый глубинный груз:
рыжих водорослей мочалу,
голубое желе медуз.

А на смуглой ворчащей гальке,
в яркой пене, бегущей вниз,
оставались стекляшки, гайки
и десятки патронных гильз.

И ребенок в белой панамке,
торопясь, хватал из воды
то ли камушки, то ль останки
похороненной здесь беды.





СТАНЦИЯ БАЛАДЖАРЫ

Степь, растрескавшаяся от жара,
не успевшая расцвести...
Снова станция Баладжары,
перепутанные пути.
Бродят степью седые козы,
в небе медленных туч гурты...
Запыхавшиеся паровозы
под струю подставляют рты.
Между шпалами лужи нефти
с отраженьями облаков...
Нам опять разминуться негде
с горьким ветром солончаков.
Лязг железа, одышка пара,
гор лысеющие горбы...
Снова станция Баладжары
на дороге моей судьбы.
Жизнь чужая, чужие лица...
Я на станции не сойду.

Улыбается проводница:
— Поглядите, мой дом в саду! —
В двух шагах низкорослый домик,
в стеклах красный, как медь, закат,
пропыленный насквозь тутовник...
(А она говорила — сад.)
Но унылое это место,
где ни кустика нет вокруг,
я глазами чужого детства
в этот миг увидала вдруг,
взглядом девушки полюбившей,
сердцем женщины пожилой...
И тутовник над плоской крышей
ожил, как от воды живой.





БЕССОННИЦА

Кряхтели рамы, стекла звякали,
и все казалось мне:

ВОТ-ВОТ

уснувший дом сорвется с якоря
и в ночь, ныряя, поплывет.

Луна катилась между тучами,
опутанная волокном,
как мачта,

дерево скрипучее
раскачивалось под окном.

Давным-давно легли хозяева,
огонь погас.

А сна все нет.

И заманить ничем нельзя его.

И долго мешкает рассвет.

От окон тянет острым холодом,
и хорошо и страшно мне.

Все крепко спят.

И с грозным городом
я остаюсь наедине.
Наш уютный дом по ветру носится,
раскачивается сосна...
И до чего ж она мне по сердцу,
азербайджанская весна!





ПРОЩАНИЕ

День осенний... день ненастный,
тучи, тучи без конца...
Вдоль дорог шиповник красный
от Страшен до Быковца.

В камыше туманы ткутся,
как в дыму холмов валы...
По шоссе влекут каруцы
флегматичные волны...

И когда летит трехтонка,
вся в пыли, за поворот,
жметя жалобно в сторонку
устаревший транспорт тот.

В кукурузе бродит ветер,
косы желтые трепля...
Листья с шорохом на грейдер
осыпают тополя...

Ах, Молдавия, Молдова,
всей душою люблю,
как же я останусь снова
без хорошей без тебя?

Как же нам с тобой проститься,
если натвердо не знать,
что весной с зимовья птицы
возвращаются опять?!

Разлетается по склонам
лета мертвая краса...
Фрунзе верде — лист зеленый —
от души оторвался!





Из Вероники Порумбаку

(с румынского)

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

Случается, что чувства, как листву,
Засыплет душистой пылью,
И вот, в любовь не веря, я живу
И плачу от бессилья.

Но, по стволу неслышно восходя,
Льнет к веткам сок древесный.
И вот довольно одного дождя,
Чтобы листва воскресла.

СУДЬБА

Моя судьба — остаться без судьбы,
Моя судьба — нести другие судьбы,

Я — как стекло... Мне взором не судьи,
А друга в души ваши заглянуть бы.

Пускай же вздох мой не затянет гладь
Окошка в мир завесою туманной.
Всего тяжеле — не существовать
И легче легкого — быть безымянной.

Есть у меня семья и нет семьи.
Я зря брожу в саду цветущим летом.
В траву роняет лепестки свои
Любовь моя, завянув пустоцветом.

Любовь моя, всегда я в стороне,
Все отдаю тебе и все напрасно.
Порою только память шепчет мне:
Ах, Вероника, радость так прекрасна!

Хотелось бы мне только одного,
Чтобы могла любимые черты я
Узнать в чертах ребенка своего, —
Но это все мечты одни пустые.

Чужой меня не назовете вы,
Лишь я сама себе чужда по сути.
Моя судьба — остаться без судьбы.
Моя судьба — нести другие судьбы.

ЗЕЛЕННЫЕ РОЩИ

О шиповник, о рощи зеленые,
Как давно вы не видели нас
Здесь, в горах, где, впервые влюбленные,
Мы впервые бродили, смеясь.

Как хватали нас цепкие ветки,
Но никак разделить не могли.
Сплетены оказались навеки
Наши пальцы — его и мои.

А теперь, ясноглазый, доверчивый,
Крепко за руки держится сын.
Топай, мальчик! Идти ведь далече им —
Этим крохотным ножкам босым.

В жизни это большое событие...
Мы шагаем по тем же лугам...
Усмехается ель: поглядите вы,
Он в сравненье с травой — великан!

Крепко-накрепко соединенные,
Как теперь мы друг другу нужны...
О шиповник, о рощи зеленые,
Вы такими остаться должны!

ПЕРВОЕ СЛОВО

Опять весна, опять ручей журчит,
Из двери маленький выходит мальчик,
И тянется за солнцем, и кричит,
Счастливый, изумленный: — Мячик! Мячик!

Огромный... Желтый... Ты бы с ним играл,
Потом он здесь бы во дворе валялся...
Но он так высоко, а ты так мал,
Что не достанешь, как бы ни старался.

Пора цветов сменяется зимой,
Мечтам — и тем случается разбиться,
Но то, что произнес ребенок мой
Впервые в жизни, может ли забыться?

Сто новых слов ты выучил давно,
Земля тебя цветами задарила,
Ты и не знаешь, что обращено
То слово первое
К сиянью жизни было.

ТВЕРЖУ СЕБЕ...

Твержу себе: еще один хоть выстрой,
Покроешь крышей — отдохнешь тогда.

Я на лесах зимой морозной, мгливой
Воочью вижу эти города.

Твержу себе: еще хотя б однажды
Отправься в горы, выше подымись,
Там отдохнешь... Но с новым шагом каждым
Меня все больше, больше тянет ввысь.

Твержу себе: еще стихотворенье,
Последнее... И лиру разобью.
Но ведь живу-то я, пока пою.
Движенье — вот мое отдохновение!

ТЫ ВЕЛИКАЯ, МОЯ ЛЮБОВЬ

Чем дальше я шагаю по земле,
Чем неровнее путь мой и труднее,
Тем кажутся теплее мысли мне,
А беглые зарницы — холоднее.

Чем дольше пью из чаши бытия,
Чем меньше в ней становится напиток,
Тем явственней поэзия моя
На дне сияет, наподобье слитка.

О ты, в горчайшей скорлупе орех,
Находка редкая в морских просторах,

Ни для кого на свете и для всех
Ты существуешь, словно ветра шорох.

Люблю тебя, и ты всегда со мной,
Люблю, — единая и многоликая,
Ничья, всеобщая, мой мир земной —
Поэзия, любовь моя великая!





ИЗ ОКНА ВАГОНА

В сугробы осыпая блески,
мерцая пылью ледяной,
белоголовые березки
перебегают под луной.
Они повергнуты в смятенье
и перепуганы до слез...
Их светло-дымчатые тени
шарахаются под откос.
А ели — те стоят спокойно,
лесной, задумчивый народ,
и смотрят из-под шалей хвойных
вдогонку вполуборот...
А по обочинам зыбучим,
почти у насыпи рябой,
кусты, ушанки нахлобучив,
бегут за поездом гурьбой.
А паровоз свистит и дразнит:
мол, не догонишь, не спеши...

Наверно, нынче зимний праздник
справляется в лесной глуши.
Там все в серебряном тумане,
в лиловом ледяном огне,
и, верно, где-то на поляне
танцуют зайцы при луне.
Пойти туда бы, покружиться
по хитрой заячьей тропе,
но только отсветы, как птицы,
влетают в темное купе
и между спящими с опаской
кружат, пока не рассвело,
и над моей постелью тряской
роняют светлое перо.





МЫ ПРАЗДНИК ВСТРЕЧАЛИ В ДОРОГЕ

Мы праздник встречали в дороге,
декабрьской студеною ночью,
в седых оренбургских степях...
Мы мчались вдоль скатов пологих,
и пара кудлатые клочья
цеплялись за снег второпях.

Мы праздник встречали в дороге.
Мы песни хорошие пели,
мы пили вино из стаканов
и рюмок плохого стекла...
Мы были одними из многих,
которых вот так же качало,
которых такая же сила
по дальним дорогам влекла.

Почти незнакомые люди,
пришли мы друг к другу на помощь,
и каждый старался соседа

утешить, что, мол, не беда,
что все еще в будущем будет
и что новогодняя полночь
с веселой и дружной беседой
в пути хороша иногда!

Мы мчались сквозь полночь и вьюгу,
мы мчались в шипенье и гуде
колючей уральской зимы...
Мы счастья желали друг другу —
почти незнакомые люди,
почти незнакомые люди,
друг в друга поверили мы.

Свистки улетали далече...
Мы пели, смеялись, молчали,
мечтали при свете неярком,
в вагоне, продутом насквозь...
И был этот праздничный вечер
моим новогодним подарком,
а счастье, что мне пожелали,
тотчас по приезде сбылось!





ОЖИДАНИЕ

Непреодолимый холод...
Кажется, дохнешь — и пар!
Ты глазами только молод,
сердцем ты, наверно, стар.

Ты давно живешь в покое...
Что ж, и это благодать!
Ты не помнишь, что такое,
что такое значит
ждать!

Как сидеть, сцепивши руки,
боль стараясь побороть...
Ты забыл уже, как звуки
могут жечься и колоть...

Звон дверных стеклянных створок,
чей-то близящийся шаг,
каждый шелест, каждый шорох,
громом рушится в ушах!

Ждешь — и ни конца, ни края
дню пустому не видать...
Пусть не я,
пускай другая
так тебя заставит ждать!





* * *

Биенье сердца моего,
тепло доверчивого тела...
Как мало взял ты из того,
что я отдать тебе хотела.
А есть тоска, как мед сладка,
и вянущих черемух горечь,
и ликование птичьих сборищ
и тающие облака...
Есть шорох трав неутомимый
и говор гальки у реки,
картавый,
не переводимый
ни на какие языки.
Есть медный медленный закат
и светлый ливень листопада...
Как ты, наверное, богат,
что ничего тебе не надо!



Не отрекаются любя.
Ведь жизнь кончается не завтра.
Я перестану ждать тебя,
а ты придешь совсем внезапно.
А ты придешь, когда темно,
когда в стекло ударит вьюга,
когда припомнишь, как давно
не согревали мы друг друга.
И так захочешь теплоты,
не полюбившейся когда-то,
что переждать не сможешь ты
трех человек у автомата.
И будет, как назло, ползти
трамвай, метро, не знаю что там...
И вьюга заметет пути
на дальних подступах к воротам...
А в доме будет грусть и тишь,
хрип счетчика и шорох книжки,

когда ты в двери постучишь,
взбежав наверх без передышки.
За это можно все отдать,
и до того я в это верю,
что трудно мне тебя не ждать,
весь день не отходя от двери.





* * *

Открываю томик одинокий —
томик в переплете полинялом.
Человек писал вот эти строки.
Я не знаю, для кого писал он.

Пусть он думал и любил иначе,
и в столетьях мы не повстречались...
Если я от этих строчек плачу,
значит, мне они предназначались.





Из Десанки Максимович

(с сербскохорватского)

МЫ НЕ ВИНОВАТЫ

Южный ветер теплым своим крылом
поля ласкал, пролетая,
в этот лучший из дней, что с тобой вдвоем,
с тобой вдвоем провела я.

Мы хотели сперва побродить часок,
но бродили целый день напролет,
пока не погас закат...

Это ветер тот,
южный ветер тот
во всем виноват.

Каждая капля, как поцелуй,
звучала, с ветки слетая.
На плотине смеялась сотнями струй
водопада волна крутая.

И только однажды подумала я,
что такая наша прогулка — грех,
и любимого вспомнила взгляд.
Это смех,
вод весенних смех
во всем виноват.

Молчаливый подснежник в кустах притих,
но все же, ища прилежно,
для милой своей отыскал ты их —
пять стебелечков нежных.

И когда загрустили, прощаясь, мы,
подарил ты мне собранный для меня
ранний букетик свой.
Это прелесть дня,
весеннего дня, —
вот что всему виной.

ПЕСНЯ О ПОКИНУТОМ РЕБЕНКЕ

Сына бросила на дороге.
Иссохшую грудь напрасно
ручонки его искали
и теребили властно.
Этот ротик открытый,
что от крика синее,

тонкие эти ножки,
что ходить еще не умеют,
и сердце, что уже любит,
оставила я на дороге.

Дождалась, пока опустеют
скамьи все и дорожки,
и на мерзлый дерн положила
новорожденного сына.

В драной моей жакетке,
без пеленок и без одежды,
он в сумрак холодный брошен,
как в воду слепой кутенок.

Добрая женщина! Первая
проходящая мимо,
возьми моего ребенка!
Все улыбки его я дарю тебе,
самые милые, первые годы сына.

Я дарю тебе сладкие
часы у детской кровати
и первых шагов его ликование...
Для тебя своею рукою
я отламываю от сердца
все надежды, все упования.

Добрая женщина! Слушай,
возьми моего сына!
Прижавшись к забору,
как нищие жмутся робко,
когда-нибудь издалека,
на дитя свое взгляд я кину.
Погляжу, как идет он из школы,
как машет тебе рукою.

Прижавшись к забору,
как нищие жмутся робко,
полными слез глазами
буду глядеть виновато,
как твой мальчик шагает тропкой —
единственное, что в жизни
звала я своим когда-то.

ВОСПОМИНАНИЕ О РОДИНЕ

Каждая пядь земли знакома мне в этом крае,
запахи поля знакомы и запахи леса.
Как там небо в течение дня изменяется, знаю,
какие там беды и радости — мне известно.

Знаю, откуда стаи тянутся к югу,
когда куропатки в горах садятся на яйца,

знаю заранее — в первую зимнюю вьюгу —
на каком из холмов самый первый сугроб появится.

Знаю, откуда туча с градом нагрянет,
с какой стороны небо весной яснеет,
и долго ли буковый листик, когда завянет,
падая с ветки на землю, в воздухе реет.

Знаю жизнь всех тропинок, камней, деревьев,
знаю, когда серпы или косы точат,
знаю, чем в доме, отстроенном только что, двери
васильком или вишней крестьянин украсить хочет.

Знаю, что говорит он, когда за налогом приходит
сборщик из города, штрафом ему угрожая,
какие песни девчата, с поля идя, заводят,
как старики горюют в годы неурожая.





* * *

Так было, так будет
в любом испытанье:
кончаются силы,
в глазах потемнело,
уже исступленье,
смятенье,
метанье,
свинцовой тяжестью
смятое тело.
Уже задыхается сердце слепое,
колотится бешено и бестолково
и вырваться хочет
ценою любовью,
и нету опасней
мгновенья такого.
Бороться так трудно,
а сдаться так просто,
упасть и молчать,

без движения лежа...
Они ж не бездонны —
запасы упорства...
Но дальше-то,
дальше-то,
дальше-то что же?
Как долго мои испытания длятся,
уже непосильно борение это...
Но если мне сдаться,
так с жизнью расстаться,
и рада бы выбрать,
да выбора нету!

Считаю не на километры — на метры,
считаю уже не на дни — на минуты...
И вдруг полегчало!
Сперва неприметно.
Но сразу в глазах посветлело
как будто!
Уже не похожее на трепыханье
упругое чувствую
сердцебиенье...
И, значит, спасенье —
второе дыханье.
Второе дыханье.
Второе рожденье!



* * *

Жизнь твою читаю,
перечитываю,
все твои печали
пересчитываю,
все твои счастливые улыбки,
все ошибки,
всех измен улики...
За тобой,
не жалуясь, не сетуя,
всюду следую
по белу свету я,
по небесным и земным
маршрутам,
по годам твоим
и по минутам...
Ничего я о тебе не знаю!
Разве лес —
прогалина лесная?

Разве море —
только ширь морская?
Разве сердце —
только жизнь людская?





* * *

Всегда так было
и всегда так будет:
ты забываешь обо мне порой,
твой скучный взгляд
порой мне сердце студит...
Но у тебя ведь нет такой второй!
Несвойственна любви красноречивость,
боюсь я слов красивых как огня.
Я от тебя молчанью научилась,
и ты к терпенью
приучил меня.
Нет, не к тому, что родственно бессилью,
что вызвано покорностью судьбе,
нет, не к тому, что сломанные крылья
даруют в утешение тебе.
Ты научил меня терпенью поля,
когда земля суха и горяча,
терпенью трав, томящихся в неволе

до первого весеннего луча,
ты научил меня терпению птицы,
готовящейся в дальний перелет,
терпению всех, кто знает,
что случится,
и молча неминуемого ждет.





* * *

Счастливо и необъяснимо
происходящее со мной:
не радость, нет — я не любима —
и не весна тому виной.
Мир непригляден, бесприютен,
побеги спят,
и корни спят,
а я не сплю, и день мой труден,
и взгляд мне горести слепят.
Я говорю с тобой стихами,
остановиться не могу.
Они как слезы, как дыханье,
и, значит, я ни в чем не лгу...
Все, что стихами, — только правда,
стихи как ветер, как прибой,
стихи — высокая награда
за все, что отнято тобой!



Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ ДОБРА

Улыбаюсь, а сердце плачет
в одинокие вечера.
Я люблю тебя.
Это значит —
я желаю тебе добра.
Это значит, моя отрада,
слов не надо,
и встреч не надо,
и не надо моей печали,
и не надо твоей тревоги,
и не надо, чтобы в дороге
мы рассветы с тобой встречали.
Вот и старость вдали маячит,
и о многом забыть пора...
Я люблю тебя.
Это значит —
я желаю тебе добра.
Значит, как мне тебя покинуть,

как мне память из сердца вынуть,
как не греть твоих рук озябших,
непосильную ношу взявших?
Кто же скажет, моя отрада,
что нам надо,
а что не надо,
посоветует, как же быть?
Нам никто об этом не скажет,
и никто пути не укажет,
и никто узла не развяжет...
Кто сказал, что легко любить?





* * *

А знаешь, все еще будет!
Южный ветер еще подует,
и весну еще наколдует,
и память перелистает,
и встретиться нас заставит,
и еще меня на рассвете
губы твои разбудят.
Понимаешь, все еще будет!
В сто концов убегают рельсы,
самолеты уходят в рейсы,
корабли снимаются с якоря...
Если б помнили это люди,
чаще думали бы о чуде,
реже бы люди плакали.
Счастье — что оно? Та же птица:
упустишь и не поймаешь.
А в клетке ему томиться

тоже ведь не годится,
трудно с ним, понимаешь?
Я его не запру безжалостно,
крыльев не искалечу.
Улетаешь?
Лети, пожалуйста...
Знаешь, как отпразднуем
встречу!





* * *

Сколько дней
не спалось,
не елось,
не плакалось мне,
не пелось,
не работалось,
не гулялось, —
все в душе своей
разбиралась.
Раздала что было хорошего,
что не нужно —
на свалку брошено,
подмела свою душу
дочиста,
настоящее одиночество.
Настежь окна,
свежо в груди...
Вот теперь давай
приходи!



СИНЯЯ ПТИЦА

Ты на рынке
мне купил голубку.
Маленькую,
худенькую,
хрупкую,
рыжевато-палевой окраски
птицу,
прилетевшую из сказки.
Вытащил помятую рублевку,
чтобы за покупку расплатиться...
Боже, как давно
и как далеко
я разыскивала
эту птицу.
Позади, без малого, полсвета,
скоро жизнь мою оденет иней...
А она была
совсем не синяя,
рыжевато-палевого цвета.



* * *

Я пенять на судьбу не вправе,
годы милостивы ко мне...
Если молодость есть вторая —
лучше первой она вдвойне.
Откровеннее и мудрее,
проницательней и щедрей.
Я горжусь и люблюсь ею —
этой молодостью моей.
Та подарком была, не боле,
та у всех молодых была.
Эту я по собственной воле,
силой собственной добыла.
Я в ее неизменность верю
оттого, что моя она,
оттого, что душой своею
оплатила ее сполна!



* * *

Хмурую землю
стужа сковала,
небо по солнцу
затосковало.

Утром темно,
и в полдень темно,
а мне все равно,
мне все равно!

А у меня есть любимый, любимый,
с повадкой орлиной,
с душой голубиной,
с усмешкою дерзкой,
с улыбкою детской,
на всем белом свете
один-единый.

Он мне и воздух,
он мне и небо,
все без него бездыханно
и немо...

А он ничего про это не знает,
своими делами и мыслями занят,
пройдет и не взглянет,
и не оглянется,
и мне улыбнуться
не догадается.

Лежат между нами
на веки вечные
не дальние дали —
года быстротечные,
стоит между нами
не море большое —
горькое горе,
сердце чужое.
Вовеки нам встретиться
не суждено...
А мне все равно,
мне все равно,
а у меня есть любимый, любимый!





САМОЛЕТЫ

Запах леса и болота,
полночь, ветер ледяной...
Самолеты, самолеты
пролетают надо мной.

Пролетают рейсом поздним,
рассекают звездный плес,
пригибают ревом грозным,
ветки тоненьких берез.

Полустанок в черном поле,
глаз совиный фонаря...
Сердце бродит, как слепое,
в поле без поводыря.

Обступает темень плотно,
смутно блещет путь стальной...
Самолеты, самолеты
пролетают надо мной.

Я устала и продрогла,
но ведь будет, все равно
будет дальняя дорога,
будет все, что суждено.

Будет биться в ровном гуле
в стекла звездная река,
и дремать спокойно будет
на моей твоя рука...

Можно ль сердцу без полета?
Я ли этому виной?
Самолеты, самолеты
пролетают надо мной.





* * *

Нам двоим посвященная,
очень краткая,
очень долгая,
не по-зимнему черная,
ночь туманная, волглая,
неспокойная, странная...
Может, все еще сбудется?
Мне — лукавить не стану —
все глаза твои чудятся,
то молящие, жалкие,
то веселые, жаркие,
счастливые,
изумленные,
рыжевато-зеленые.
Переулки безлюдные,
непробудные улицы...
Мне — лукавить не буду —

все слова твои чудятся,
то несмелые, нежные,
то тревожные, грешные,
простые,
печальные
слова прощальные.

Эхо слышу я древнее,
что в полночи будится,
слышу крови биение...
Может, все-таки сбудется?
Ну, а если не сбудется,
разве сгинет, забудется
тех мгновений течение,
душ заблудших свечение?





ПТИЦЫ, ЛИСТЬЯ И СНЕГ

Утром как с цепи сорвался
ветер,
небо одел свинцом.
Наш дуб облетел
и сам не заметил,
и, значит, дело с концом!
По огромной спирали
все выше, выше
сухие листья летят,
летят выше веток
и выше крыши,
в облака улететь хотят.
Ветер вновь их сгребает, швыряет охапки,
попробуй с ним поборись!
У голубей застывают лапки,
стая шумно взлетает с карнизов ввысь.
Ветер гонит их по косо́й,

все выше,
комкает их, бесшабашно лих,
им небо навстречу
холодом дышит
и роняет белые звезды на них.

Это осень с зимой
сошлись в поднебесье,
там, где вьюги берут разбег,
там, где в сумерках сизых
летают вместе
листья, птицы и снег.





* * *

Морозный лес.
В парадном одеянье
деревья-мумии, деревья-изваянья...
Я восхищаюсь этой красотой,
глаз не свожу,
а сердцем не приемлю.
Люблю землю пахнущую землю
и под ногой
листья упругий слой.
Люблю кипенье, вздохи, шелест, шорох,
величественный гул над головой,
брусничники на рыжих косогорах,
кочкарники с каемчатой травой...
Труд муравьев, и птичьи новоселья,
и любопытных белок беготню...
Внезапной грусти,
шумного веселья
чередованье
по сто раз на дню.

Люблю я все, что плещется, струится,
рождается, меняется, растет,
и старится,
и смерти не боится...
Не выношу безжизненных красот!
Когда январским лесом прохожу я
и он молчит,
в стоцветных блестках сплошь,
одно я повторяю, торжествуя:
«А все-таки ты скоро оживешь!»





* * *

Как счастье внезапное — оттепель эта.
Весны дуновеньем земля обогрета.
Еще не начало весны, а предвестье,
и даже еще не предвестье — намек,
что будет,
что рядом,
что срок недалек.
Нет, эти приметы меня не обманут:
совсем по-особому
грустно до слез,
как самый последний оставшийся мамонт,
трубит в одиночестве
электровоз.
Промчался гудок
и за далями сгинул,
и стихло в ночи тарахтенье колес,
и город
молчанье, как шапку, надвинул,

и явственно стало дыханье берез.
Они, возле окон на цыпочках стоя,
глядят любопытно...
Я чувствую их.
Я слышу, как бьется их сердце простое,
как соки пульсируют в почках тугих.
Вот с крыши сосулька обрушилась вниз,
ударилась вдребезги о карниз,
хрустальная дробь раскатилась по
жести —
и снова сторожкая долгая тишь...
Я знаю, я знаю: ты тоже не спишь,
ты слушаешь тоже,
мы слушаем вместе.
Как оттепель — близость внезапная эта.
Дыханием счастья душа обогрета.
Еще не начало, а только предвестье,
и даже еще не предвестье — намек,
что будет,
что рядом,
что срок недалек.





* * *

И живешь-то ты близко,
почти что бок о бок,
в одной из железобетонных коробок,
а солнца не видим,
а ветром не дышим,
а писем любовных
друг другу не пишем...
И как это так получилось нелепо,
что в наших лесах мы не бродим
вдвоем,
из ладони не пьем,
ежевику не рвем,
на горячей поляне среди курослепа
не делим по-братски ржаного куска,
не падаем в теплое синее небо,
хватаясь беспомощно за облака.
И в зное полуденном,

в гомоне смутном
не дремлем усталые в холодке
и не слышим, как птицы наши
поют нам
на понятном обоим нам
языке...

Мы солнца не видим
и ветром не дышим,
никуда мы не выйдем,
ничего не услышим,
лишь звонок телефонный
от раза до раза
и всегда наготове
стандартная фраза
для приветствия,
для прощания...
Да еще напоследок
мгновенье молчания.
Минута молчания.
Вечность молчания,
полная нежности
и отчаянья.



* * *

Все в доме пасмурно и ветхо,
скрипят ступени, мох в пазах...
А за окном — рассвет
и ветка
в аквамариновых слезах.
А за окном
кричат вороны,
и страшно яркая трава,
и погромыхиванье грома,
как будто валятся дрова.
Смотрю в окно,
от счастья плача,
и, полусонная еще,
щекою чувствую горячей
твое прохладное плечо...
Но ты в другом, далеком доме
и даже в городе другом.

Чужие властные ладони
лежат на сердце дорогом.
...А это все — и час рассвета,
и сад, поющий под дождем, —
я просто выдумала это,
чтобы побыть
с тобой вдвоем.





* * *

Что-то мне недужится,
что-то трудно дышится...
В лугах цветет калужница,
в реке ветла колыхается,
и птицы, птицы, птицы
на сто ладов поют,
и веселятся птицы,
и гнезда птицы вьют.
...Что-то беспокойно мне,
не легко, не просто...
Стремительные, стройные
вокруг поселка сосны,
и тучи, тучи, тучи
белы, как молоко,
и уплывают тучи
далёко-далеко.
Да и меня никто ведь
в плену не держит, нет.

Мне ничего не стоит
на поезд взять билет
и в полночь на разъезде
сойти в глуши лесной,
чтоб быть с тобою вместе,
чтоб стать весне весной.
И это так возможно...
И это так нельзя...
Летит гудок тревожно,
как филин голося,
и сердце, сердце, сердце
летит за ним сквозь мглу,
и горько плачет сердце:
«Как мало я могу!»





ШИШКА

Я в снегу подтаявшем,
около ствола,
гладенькую, мокрую
шишку подняла.
А теперь в кармане
я ее ношу,
выну, полюбуюсь,
лесом подышу.
Выну и порадуюсь,
что тогда, в лесу,
может быть, последнюю,
может, предпоследнюю,
а может быть, просто
встретила весну.
Там в снегу лосиные
глубокие следы,
как ведерки синие,
полные воды,

свежие проталины,
муравьи у пня, —
маленькие тайны
мартовского дня.





* * *

Сияет небо снежными горами,
гроздами округлых ярких туч.
Здесь тишина торжественна, как в храме,
здесь в вышине дымится тонкий луч.
Здесь теплят ели розовые свечи
и курят благовонную смолу.
Нам хвоя тихо сыплется на плечи,
и тропка нас ведет в густую мглу.
Все необычно этим летом странным:
и то, что эти ели так прямы,
и то, что лес мы ощущаем храмом,
и то, что боги в храме этом мы!





* * *

День был яркий, ветреный.
Шум кипел березовый.
В рощице серебряной
цвел татарник розовый.
Земля была прохладная,
влажная, упругая,
тучи плыли по небу
громоздкие, округлые...
Быть может, слишком часто я
зеленым брежу летом,
но если это счастье,
то как молчать об этом?
Если я такими
богатствами владею —
зачем же, зачем же
их спрячу от людей я?
Ссорятся влюбленные,
грустят, и невдомек им,

что есть края зеленые,
где все бывает легким.
А редко ли встречаются
хмурые, усталые,
вздыхают, огорчаются,
думают, что старые.
Ходят в поликлиники,
вздорят там с врачами...
А в чащах есть малинники,
овраги есть с ручьями.
Там есть трава и синева,
роса и запах тминный,
и стоит это целиком,
с водой, цветами, ветерком,
какой-нибудь полтинник.
И каждому, кто забредет
в лесное это царство,
от всех невзгод, от всех забот
отыщется лекарство.
Помнишь? День был ветренный,
шум кипел березовый,
в рощице серебряной
цвел татарник розовый...



ОСЕНЬ В КРЫМУ

I

Ранняя нынче
осень в Крыму,
смутное море,
горы в дыму,
пухлые тучи,
дождем налиты,
переползают
через хребты.
Рыжий лишайник,
седая полынь,
ветки ломает
жгучий норд-ост,
только в ущельях —
тишь да теплынь,
свищет по-летнему

глупенький дрозд.
Впрочем, кто знает, —
глуп или нет,
кто разберет,
что у птиц на уме?
Может, и нам
не считать бы примет,
жить и не думать
о близкой зиме...
Ранняя нынче
осень в Крыму,
зябкое море,
дали в дыму...
Как мне живется
светло и легко,
а почему,
сама не пойму.

II

Норд-ост осенний с гор летел
и щеки жег румянцем.
Шиповник рыжий шелестел,
алея твердым глянцем.
И было гнездышко в кусте,
в колючей чаще ржавой.

Пять красных ягод
в том гнезде,
в сухой листве лежало...
Могли не верить лишь глупцы,
что совершится чудо,
что красноперые птенцы
проклюнутся оттуда.
Но мы с тобой не стали ждать
с надеждой и тревогой,
взглянули только
и опять
пошли своей дорогой.
Все представляю, как потом
снега на горы лягут,
как занесут в гнезде сухом
пять бездыханных ягод.

III

За валом вал
идет на берег,
бурля зеленым кипятком,
и каждый
в смерть свою не верит,
и каждый
падает ничком.

И, растекаясь пеной млечной,
сбегает медленно
с камней,
чтоб снова слиться
с глубию вечной
и обрести бессмертье
в ней.





ТЕНЬ

Приглашает птичий гам
тишина еловая,
проплывает по снегам
тьень моя лиловая.
На снегах и в облаках
синева прозрачная,
в белых пухлых башлыках
спят домишки дачные.
Тень идет сама собой,
в чащи забирается,
о штакетник голубой
пополам ломается...
Хоть сугробы глубоки —
просто нет возможности,
хоть навешаны замки,
из предосторожности,
залезает тень плечом
в окна золоченые,

тени сроду нипочем
зоны запрещенные...
Я шагаю колеей,
потная, усталая,
лед бугристый подо мной,
мешанина талая.

Ноги бедные мои
тяжелы немислимо,
я от этой колеи
целиком зависима.
Поскользнувшись на ходу,
локоть тру с обидою,
тени, пляшущей в саду,
от души завидую!





* * *

Не сули мне
золотые горы,
годы жизни доброй
не сули.
Я тебя покину очень скоро
по закону матери-земли.
Мне остались считанные весны,
так уж дай на выбор,
что хочу:
елки сизокрылые, да сосны,
да березку — белую свечу.
Подари веселую дворняжку,
хриплых деревенских петухов,
мокрый ландыш,
пыльную ромашку,
смутное движение стихов.
День дождливый,

темень ночи долгой,
всплески, всхлипы, шорохи
во тьме...
И сырых поленьев запах волглый
тоже, тоже дай на память мне.

Не кори, что пожелала мало,
не суди, что сердцем я робка.
Так уж получилось, —
опоздала...
Дай мне руку!
Где твоя рука?





* * *

Шагаю хвойною опушкой,
и улыбаюсь, и пою,
и жестяной помятой кружкой
из родничка лесного пью.
И слушаю, как славка свищет,
как зяблик ссорится с женой,
и вижу гриб у корневища
сквозь папоротник кружевной...
Но дело-то не в певчих птицах,
не в роднике и не в грибе, —
душа должна уединиться,
чтобы прислушаться к себе.
И раствориться в блеске этом,
и слиться с этой синевой,
и стать самой
теплом и светом,
водой,
и птицей,

и травой,
живыми соками напитаться,
земную силу обрести,
ведь ей века еще трудиться,
тысячелетия расти.





* * *

Я прощаюсь с тобою
у последней черты.
С настоящей любовью,
может, встретишься ты.
Пусть иная, родная,
та, с которою — рай,
все равно заклинаю:
вспоминай! вспоминай!
Вспоминай меня, если
хрустнет утренний лед,
если вдруг в поднебесье
прогремит самолет,
если вихрь закурчавит
душных туч пелену,
если пес заскучает,
заскулит на луну,
если рыжие стаи
закружит листопад,

если за полночь ставни
застучат невпопад,
если утром белесым
закричат петухи,
вспоминай мои слезы,
губы, руки, стихи...
Позабыть не старайся,
прочь из сердца гоня,
не старайся,
не майся —
слишком много меня!





* * *

Мне говорят:
нету такой любви.
Мне говорят:
как все,
так и ты живи!
Больно многого хочешь,
нету людей таких.
Зря ты только морочишь
и себя и других!
Говорят: зря грустишь,
зря не ешь и не спишь,
не глупи!
Все равно ведь уступишь,
так уж лучше сейчас
уступи!
...А она есть.
Есть.
Есть.
А она — здесь,
здесь,
здесь,

в сердце моем
теплым живет птенцом,
в жилах моих
жгучим течет свинцом.
Это она — светом в моих глазах.
Это она — солью в моих слезах,
зрение, слух мой,
грозная сила моя,
солнце мое,
горы мои, моря!
От забвенья — защита,
от лжи и неверья — броня...
Если ее не будет,
не будет меня!
...А мне говорят:
нету такой любви.
Мне говорят:
как все,
так и ты живи!
А я никому души
не дам потушить.
А я и живу, как все
когда-нибудь
будут жить!





* * *

Пускай лучше ты не вступишь меня,
чем я не открою двери.

Пускай лучше ты обманешь меня,
чем я тебе не поверю.

Пускай лучше я в тебе ошибусь,
чем ты ошибешься во мне.

Пускай лучше я на дне окажусь,
чем ты по моей вине.

Пока я жива,
пока ты живой,
последнего счастья во имя,
быть солнцем хочу
над твоей головой,
землей —
под ногами твоими.



* * *

Не опасаясь впасть в сентиментальность,
для нас с тобой такой угрозы нет.
Нас выручает расстояний дальность,
число разлук, неумолимость лет.
Нам ничего судьба не обещала,
но, право, грех ее считать скупой:
ведь где-то на разъездах и причалах
мы все-таки встречаемся с тобой.
И вновь — неисправимые бродяги —
соль достаем из пыльного мешка,
и делим хлеб, и воду пьем из фляги
до первого прощального гудка.
И небо, небо синее такое,
какое и не снилось никому,
течет над нами вечною рекою
в сплетеньях веток, в облачном дыму.



* * *

А может быть, останусь жить?
Как знать, как знать...
И буду с радостью дружить?
Как знать, как знать?
А может быть, мой черный час
не так уж плох?
Еще в запасе счастья часть,
щепотка крох...
Еще осталось: ночь, мороз,
снегов моря
и безнадежное до слез —
«Любимая!»
И этот свет, на краткий миг,
в твоём лице,
как будто не лицо, а лик
в святом венце.
И в три окна, в сугробах, дом —
леса кругом,

когда февраль, как белый зверь,
скребется в дверь...

Еще в той лампе фитилек
тобой зажжен,
как желтый жалкий мотылек,
трепещет он...

Как ночь души моей грозна,
что делать с ней?

О, честные твои глаза
куда честней!

О, добрые твои глаза
и, словно плеть,
слова, когда потом нельзя
ни спать, ни петь.

Чуть-чуть бы счастья наскрести,
чтобы суметь
себя спасти, тебя спасти,
не умереть!





* * *

Человек живет совсем немного —
несколько десятков лет и зим,
каждый шаг отмеривая строго
сердцем человеческим своим.
Льются реки, плещут волны света,
облака похожи на ягнят...
Травы, шелестящие от ветра,
полчищами поймы полонят.
Выбегает из побегов хилых
сильная блестящая листва,
плачут и смеются на могилах
новые живые существа.
Вспыхивают и сгорают маки.
Истлевает дочерна трава...
В мертвых книгах
крохотные знаки
собраны в бессмертные слова.



* * *

Терпеливой буду, стойкой,
молодой, назло судьбе!
Буду жить на свете столько,
сколько надобно тебе.

Что тебе всего дороже,
то и стану я дарить.
Только ты меня ведь тоже
должен отблагодарить —

молодым счастливым взглядом
в тихом поле, при луне,
тем, что ты со мною рядом —
как с собой наедине.

Правдой сердца, словом песни,
мне родной и дорогой,
даже если, даже если
ты отдашь ее другой.



* * *

Нельзя за любовь — любое,
нельзя, чтобы то, что всем.
За любовь платят любовью
или не платят совсем.

Принимают и не смущаются,
просто благодарят.
Или (и так случается!)
спасибо не говорят.

Горькое... вековечное...
Не буду судьбу корить.
Жалею тех, кому нечего
или некому
подарить.





* * *

Знаю я бессильное мученье
над пустой тетрадкой в тиши,
знаю мысли ясное свеченье,
звучную наполненность души.
Знаю также быта неполадки,
повседневной жизни маету,
я хожу в продмаги и палатки,
суп варю, стираю, пол мету...
Все-таки живется высоко мне.
Очень я тебя благодарю,
что не в тягость мне земные корни,
что как праздник
праздную зарю,
что утрами с пеньем флейты льется
в жбан водопроводная вода,
рыжий веник светится как солнце,
рдеют в печке чудо-города...

Длится волшебство не иссякая,
повинутся мне
ветер, дым,
пламя, снег и даже сны,
пока я
заклинаю именем твоим.





* * *

За водой мерцает серебристо
поле в редком и сухом снегу.
Спит, чернея, маленькая пристань,
ни живой души на берегу.
Пересвистываясь с ветром шалым,
гнется, гнется мерзлая куга...
Белым занимается пожаром
первая осенняя пурга.
Засыпает снег луга и нивы,
мелкий, как толченая слюда.
По каналу движется лениво
плотная, тяжелая вода...
Снег летит спокойный, гуще, чаще,
он летит уже из крупных сит,
он уже пушистый, настоящий,
он уже не падает — висит...
Вдоль столбов высоковольтной сети

я иду, одета в белый мех,
самая любимая на свете,
самая красивая на свете,
самая счастливая из всех!





ЗВЕЗДА

Было, было — ночи зимние,
черных сосен купола...
Невообразимо-синяя,
надо всем звезда плыла.
На путях преград не ведая,
навсегда себе верна,
над обидами, над бедами,
над судьбой плыла она.
Над холмами, над пригорками,
над гудроном в корке льда,
над бессонницами горькими,
над усталостью труда,
опушенная сиянием,
в ледяной пустынной мгле,
добрым предзнаменованием
утешая душу мне.
Не сбылись ее пророчества,
но прекрасней, чем тогда,
над последним одиночеством
синяя плывет звезда.



ПОЛДЕНЬ

Я сама себе кажусь девчонкой,
ни о чем не думая, живу.
Хлеб макаю
в банку со сгущенкой,
воду пью — и навзничь, на траву.
И лежу.
И отплываю в небо.
В небе тучек перистых косяк.
Их березы ловят, ловят в невод,
а они не ловятся никак.
Ускользают, уплывают тучки.
Пахнет сеном.
Около виска
серебрится пряжею паучьей
два колючих, сизых колоска.
Иногда уже привычный рокот,
грохот, рев на части воздух рвет.
Колесницею Ильи-пророка
небо прорезает самолет.

Косокрылый ТУ летит к столице.
Встряхнута земля, оглушена.
Но минута-две — и устоится
взбаламученная тишина.

Только слаще станет и бездонней,
только синь синей над головой...
И опять, опять твои ладони,
сны, заполоненные тобой.





* * *

Над скалистой серой кручей
плавал сокол величаво,
в чаще ржавой и колючей
что-то сонно верещало.
Под румяною рябиной
ты не звал меня любимой,
целовал, в глаза не глядя,
прядей спутанных не глядя.
Но сказать тебе по чести,
я ничуть не огорчалась, —
так легко нам было вместе,
так волшебно тень качалась,
так светло скользили блики,
так вода в камнях сверкала...
Уж такой ли грех великий,
чтобы нам такая кара?

День беспечный, быстротечный...
Так ли мы виновны были,
чтоб друг к другу нас навечно
за него приговорили?





* * *

Просторный лес листвой перемело,
на наших лицах — ответ бледной бронзы.
Струит костер стеклянное тепло,
раскачивает голые березы.
Ни зяблика, ни славки, ни грача,
беззвучен лес, метелям обреченный.
Лесной костер грызет сушняк, урча,
и ластится, как хищник прирученный.
Припал к земле, к траве сухой прилег,
ползет, хитрит... лизнуть нам руки тщится...
Еще одно мгновенье — и прыжок!
И вырвется на волю, и помчится...
Украдено от вечного огня,
ликует пламя, жарко и багрово...
Невесело ты смотришь на меня,
и я не говорю тебе ни слова.

Как много раз ты от меня бежал.
Как много раз я от тебя бежала.
...На сотни верст гудит лесной пожар.
Не поздно ли спастись от пожара?





* * *

Ты ножик вынул не спеша,
гордясь своим искусством,
и с маху сталь в кору вошла
с тугим и сочным хрустом.
Береза белая была,
как тоненькое пламя.
Я сок березовый пила,
к стволу припав губами.
Еще несладкий ранний сок
из треугольной раны тек
капельками светлыми,
частыми, несметными...
По каплям жизнь ее текла,
лесная кровь сочилась...
Но чем помочь я ей могла
в беде, что приключилась?
Лишь помня о судьбе своей,
своей полна печали,
я чувствовала вместе с ней
мертвящий холод стали.



* * *

Все равно ведь, поздно или рано, —
чем позднее, тем нужней вдвойне, —
ты отправишь мне радиogramму
на известной нам двоим волне.

Все равно ведь, поздно или рано,
времени не тратя на ответ,
в очередь к билетной кассе встану
и кассирша выдаст мне билет.

Все равно — на море или суше,
пусть еще не знаем — где, когда,
все равно — «спасите наши души!»
песни, самолеты, поезда!





ДАГЕСТАНСКАЯ НОЧЬ

Желто-тусклые фары,
рек невидимых гул,
в черной бездне —
янтарный,
словно соты,
аул...
В чьем-то доме ночевка,
тишина... темнота...
Монотонно, как пчелка,
песню тянет вода.
Ядра завязей плотных
холодны и тверды:
гордость сердца чьего-то,
чьей-то жизни труды...
Сонно листьями плещет
сад, незримый в тиши,
но не лечит, не лечит
горный ветер души,

только хуже тревожит,
память мне бередя...
Нет, не будет...
Не может
счастья быть без тебя.

Поздно, поздно,
ах, поздно!
Все равно не помочь.
Раскаленные звезды...
Дагестанская ночь.





* * *

Пусть друзья простят меня за то, что
повидаться с ними не спешу.

Пусть друзья не попрекают почту —
это я им писем не пишу.

Пусть не сетуют, что рвутся нити, —
я их не по доброй воле рву.

Милые, хорошие, поймите:
я в другой галактике живу!





* * *

Спор был бесплодным,
безысходным...
Потом я вышла на крыльцо
умыть безмолвием холодным
разгоряченное лицо.
Глаза опухшие горели,
отяжелела голова,
и жгли мне сердце, а не грели
твои запретные слова.
Все было тихо и студено,
мерцала инея слюда,
на мир глядела удивленно
большая синяя звезда.
Березы стыли в свете млечном,
как дым клубясь над головой,
и на руке моей
колечко
светилось смутной синевой.
Ни шороха не раздавалось,
глухая тишь была в доме...

А я сквозь слезы улыбалась,
сама не зная почему.
Светало небо, голубело,
дышало, на землю сойдя...
А сердце плакало и пело...
И пело...
Бог ему судья!





* * *

Бывало все: и счастье, и печали,
и разговоры длинные вдвоем.
Но мы о самом главном промолчали,
а может, и не думали о нем.
Нас разделило смутных дней течение —
сперва ручей, потом, глядишь, река...
Но долго оставалось ощущение:
не навсегда, ненадолго, пока...
Давно исчез, уплыл далекий берег,
и нет тебя, и свет в душе погас,
и только я одна еще не верю,
что жизнь навечно разлучила нас.





* * *

Я поняла, —
ты не хотел мне зла,
ты даже был
предельно честен где-то,
ты просто оказался из числа
людей, не выходящих из бюджета.
Не обижайся,
я ведь не в укор,
ты и такой
мне бесконечно дорог.
Хорош ты, нет ли —
это сущий вздор.
Любить так уж любить —
без оговорок.
Я стала невеселая...
Прости!
Пуškai тебя раскаянье не гложет.
Сама себя попробую спасти,

Никто другой
спасти меня не может.
Забудь меня.
Из памяти сотри.
Была — и нет, и крест поставь
на этом!
А раны заживают изнутри.
А я еще уеду к морю летом.
Я буду слушать, как идет волна,
как в грохот шум ее перерастает,
как, отступая, шелестит она,
как будто книгу вечности
листают.
Не помни лихом.
Не сочти виной,
что я когда-то в жизнь твою вторга-
лась,
и не печалься —
все мое — со мной.
И не сочувствуй —
я не торговалась!





* * *

Лес был темный, северный,
с вереском лиловым,
свет скользил рассеянный
по стволам еловым,
а в часы погожие
сквозь кусты мелькало
озеро, похожее
на синее лекало.
И в косынке беленькой,
в сарафане пестром,
шла к тебе я берегом,
по камушкам острым.
И с тобой сидела я
на стволе ольховом,
ночь дымилась белая
сумраком пуховым.
Сети я сушила
за избой на кольях,

картошку крошила
в чугуn на угольях.
До восхода в сeнцах
не спала, молчала,
слушала, как сердце
любимое стучало.





* * *

Там далёко,
за холмами синими,
за угрюмой северной рекой,
ты зачем зовешь меня по имени?
Ты откуда взялся?
Кто такой?
Голос твой блуждает темной чащей,
очень тихий,
слышный мне одной,
трогая покорностью щемящей,
ужасая близостью родной.
И душа,
как будто конь стреноженный,
замерла, споткнувшись на бегу,
вслушиваясь жадно и встревоженно
в тишину на дальнем берегу.



* * *

Письма я тебе писала
на березовой коре,
в реку быструю бросала
эти письма на заре.
Речка лесом колесила,
подмывала берега...
Как я реченьку просила,
чтобы письма берегла.
Я бросала, не считая,
в воду весточки свои,
чтобы звезды их читали,
чтобы рыбы их читали,
чтоб над ними причитали
сладким плачем
соловьи,
и слезами обливалась,
и росую умывалась,
и тропинкой подымалась
в тихий домик на горе.
— Где бродила-пропадала?

- На реке белье стирала.
- Принесла воды? Достала?
- Ну а как же — два ведра!
- Что печальна?
- Так, устала.
- Что бледна?
- Крута гора.





ГОЛУБКА

Она хрупка была и горяча
и вырывалась, крыльями плеща.
А у меня стучало сердце глухо,
и я ему внимала не дыша,
и мне казалось — это не голубка
на волю рвется, а моя душа.
Разжав ладонь, я выпустила птицу
в осеннем парке, полном тишины,
и отперла душе своей темницу:
— Лети на все четыре стороны!
Еще не веря в то, что совершилось,
растерянная, робкая еще,
она взлетела к небу,
покружилась
и опустилась на твое плечо.



* * *

Будет, будет, будет дом,
не останемся без крова.
Будет дом моим трудом
возведен, дыханьем, кровью,
мужеством и теплотой,
преданностью и смиреньем...
Будет, будет — мой и твой,
в соснах, в зарослях сирени,
возле родника, в логу,
на прибрежном косогоре,
дом в тайге и дом на взморье,
дом в барханах, дом в снегу...
Не навеки — на два дня
будет дом всегда и всюду,
если буду я, а я
буду,
буду,
буду,
буду!



* * *

Я люблю выдумывать страшное,
боль вчерашнюю бережу,
как дикарка,
от счастья нашего
силы темные
отвожу.

Не боюсь недоброго глаза,
а боюсь недоброго слова,
пуще слова — недоброго дела...
Как бояться мне надоело!
Хоть однажды бы крикнуть мне,
как я счастлива на земле.
Хоть однажды бы не таиться,
похвалиться,
да вот беда —
сердце, сердце мое
как птица,
уводящая от гнезда.



НА МОРЕ

Я шла сюда с душою темной,
лишенной мужества и сил,
но ветер шумный и огромный
меня схватил и ослепил.
Валы грозили и гремели
и наступали на меня,
и скользко вспыхивали мели
в шипенье красного огня.
К закату неся парус медный,
надменно выгнут и упрямы,
и я припомнила, что дед мой
всю жизнь скитался по морям...
И я подумала о сыне,
как он, от всех морей вдали,
упорно, с крыльями косыми
выстругивает корабли.
Швыряя водорослей плети,
вскипали пенные горбы,

и в душу мне ворвался ветер
неуспокоенной судьбы.
И так смеялся, так гремел он,
закатным пламенем обвит,
что я припомнить не посмела
вчерашних маленьких обид!





* * *

Поблескивает полотно
прогретой сталью рельс...
Давным-давно,
давным-давно
мы шли сквозь этот лес.
Он от дождя тогда намок,
но, ветерком гоним,
пыльцы мерцающий дымок
уже всплывал над ним.
День был янтарно золотист,
и птичий свист
в ушах звенел,
и первый стебель зеленел,
буравя прошлогодний лист.
Шел по верхам тяжелый гуд,
и нарастал,
и гас...

...А ландыши-то отцветут
без нас на этот раз!
Без нас, без нас
завяжут плод
черемуха и терн,
и земляника отойдет,
и пожелтеет дерн.
Не буду я считать недель,
не стану ждать вестей...
А та раскидистая ель
все ждет к себе гостей.
Все ждет, все ждет
под хвойный свод...
Не позабудь примет:
за балкой — первый поворот,
четвертый километр.





ВЕРТУШИНКА

Хороша, говоришь, красива?
Что ж клянешь ты ее с тоской?
Не кори, а скажи спасибо
быстрине ее колдовской.

И в погоду, и в непогоду
над речонкою склонена,
пьет осинка живую воду,
через то и жива она.

Вертушинке ли не струиться?
Нет иных у нее примет...
Если речка угомонится,
значит, речки на свете нет.

То мелеет, то прибывает, —
любо-дорого поглядеть...
Реки старыми не бывают,
им не надобно молодеть.

Не страшись ее круговерти,
не беги от воды хмельной,
успокоится после смерти,
нету вечных рек под луной!





ПОГОДА ПЛОХАЯ

Как тугие жгуты кудели
в проводах повисают тучи...
Дождик сыплется не скудея,
неразборчивый и колючий.
То он сыплется, то он сеется,
то по стеклам забарабанит...
За работу берусь — не клеится,
подремать бы чуть-чуть,
так сна нет.
Вспоминаются все заботы,
все обиды и все печали:
вот неласков ты нынче что-то,
ты внимательней был вначале.
Быть со мной тебе неприятно,
разлюбил ты меня, похоже...
Впрочем, что же, вполне понятно,
есть красивее
и моложе...
Что мне делать теперь — не знаю!
Вот и дождик заладил назло.

Дребедень его жестяная
за пять суток в ушах навязла.
Одиночество неизбежно...

Но не знал ты о том, не ведал,
постучался влюбленный, нежный,
и конца мне придумать не дал!





БЕССОННИЦА

Ночи... ночи... пустынные, синие...
Мыслей вспененная река.
А слова — до того бессильные,
что за горло берет тоска.
Обжигает подушка душная,
и вступает рассвет в права,
и тяжелая, непослушная,
в дрему клонится голова.
И когда уж глаза слипаются,
где-то около четырех,
воробьи в саду просыпаются,
рассыпаются как горох...
Скачут, мечутся, ошалелые,
жизнерадостно вереща.
Пробивается солнце белое
из-за облачного плаща.
Зашуршали дворники метлами,
и, прохладой цветы поя,

шланг над брызгами искрометными
извивается как змея.

Не заснуть, как я и предвидела...

Все слышней за окном шаги.

Ночь сегодня меня обидела.

Утро доброе, помоги!





* * *

Зачем судьбу который раз пытаешь?
Любовь, как ветку, гнешь да гнешь в дугу?
Ты без нее счастливее не станешь,
а я прожить на свете не смогу.
Да, все идет неладно,
криво, косо,
да, время нам
к закату, под уклон...
А ветке что?
Она цветет без спроса,
и никакой закон ей
не закон!
За то ты так ее и ненавидишь,
ты хочешь, чтобы все —
как надо быть,
ты в ней противоречье смыслу видишь
и все-таки жалеешь загубить.

Брось, не жалея,
сгибай и перекручивай,
мол, все равно когда-нибудь зима...
Ты только оправданий не вымучивай,
я для тебя их подыщу сама.
Сломай — и все!

И крест поставь на этом,
а лучше кол осиновый забей.
Уж вот когда она
зеленым ветром
пойдет хозяйничать
в душе твоей!





* * *

И вот ты купе закрываешь,
включаешь ночник голубой...
Ты знаешь,
ты только скрываешь,
что еду я вместе с тобой.
То колкий, то мягкий не в меру,
то слишком веселый подчас,
ты прячешь меня неумело
от пристальных горестных глаз.
Названья полуночных станций
дежурные сонно твердят...
О если бы выйти, остаться,
пропасть, воротиться назад...
Но вместе, да, вместе мы выйдем
на утренний влажный перрон,
и бледное небо увидим
с оравой орущих ворон,
дорогой, подернутой дымкой,

мы в хвойные дали пойдем,
и стану я жить невидимкой
в неласковом доме твоём,
и будут недели молчанья
медлительны и горьки,
и буду я плакать ночами
на бревнышке возле реки.





* * *

Нам не позволено любить.
Все, что с тобою связано,
мне строго-настрого забыть
судьбой моей приказано.

Но помню я всему назло
любви часы беспечные,
и встречи памятной число —
мое. На веки вечные!

И низко стелющийся дым
с мерцающими искрами,
и поле с деревом седым
под облаками низкими...

Вагон, летящий в темноту,
покачиванье мерное...
И гаснут искры на лету, —
ты помнишь их, наверное?

Так каждый миг, и час, и год
мои. На веки вечные,
пока наш поезд не придет
на станцию конечную!





Дорогая Вероника Михайловна!

От всего сердца поздравляю Вас, замечательную поэтессу, стихи которой давно притягивают и волнуют меня своей оригинальностью, человечностью, красотой и теплом, с Вашим славным юбилеем. Я рад, что в Вашем творчестве сильно прозвучала также тема нашей Литвы.

С чувством радости я всегда вспоминаю наши встречи в Москве, в Вильнюсе и Каунасе и мечтаю о новых встречах и дружеских беседах.

Желаю Вам, дорогая Вероника Михайловна, много здоровья, счастья, негаснущего вдохновенья для новых прекрасных книг!

Ваш Антанас Венцлова

Вильнюс 10.4.1965





СНОВА ЛИТВЕ!

Я была с тобою рядом,
может, слишком мало,
но ведь я тебя не взглядом —
сердцем увидала.
Я была такой богатой,
столько я имела:
темный, плотный, кисловатый
хлеб литовский ела.
Сладкий сок литовских вишен,
солнца хмель пила я,
под гостеприимной крышей
сладким сном спала я.
Я летала, словно птица,
лаской обогрета,
я заглядывала в лица,
полные привета, —
все хотела убедиться,

что не снится это.
Как меня ты одарила
прелестью земною,
сколько счастья разделила,
радуясь со мною.

И в недобрый час печали
не была одна я,
ты стояла за плечами,
как сестра родная.
С глаз моих обиды слезы
вытерла не ты ли?
Не твои ль снега и звезды
мне в пути светили?
Первый луч на черепицах,
первый ветер с юга...
Так возможно ль разлучиться,
позабыть друг друга?





* * *

Я без тебя училась жить,
я принялась за дело.
Костер сумела я сложить —
гудело, а не тлело.

Я без тебя училась жить...
Как сердце ни болело, —
сумела песню я сложить,
не плакала, а пела.

На озаренные кусты
глядела ясным взглядом...
Но вышел ты из темноты
и сел со мною рядом.





* * *

Я стою у открытой двери,
я прощаюсь, я уйду.
Ни во что уже не поверю, —
все равно
напиши,
прошу!
Чтоб не мучиться поздней жалостью,
от которой спасенья нет,
напиши мне письмо, пожалуйста,
вперед на тысячу лет.
Не на будущее,
так за прошлое,
за упокой души,
напиши обо мне хорошее.
Я уже умерла. Напиши!



Сто часов
счастья





* * *

Сто часов счастья...
Разве этого мало?
Я его, как песок золотой,
намывала,
собирала любовно, неутомимо,
по крупице, по капле,
по искре, по блестке,
создавала его из тумана и дыма,
принимала в подарок
от каждой звезды и березки...
Сколько дней проводила
за счастьем в погоне
на продрогшем перроне,
в гремящем вагоне,
в час отлета его настигала
на аэродроме,
обнимала его, согревала
в нетопленном доме.

Ворожила над ним, колдовала...
Случалось, бывало,
что из горького горя
я счастье свое добывала.
Это зря говорится,
что надо счастливой родиться.
Нужно только, чтоб сердце
не стыдилось над счастьем трудиться,
чтобы не было сердце
лениво, спесиво,
чтоб за малую малость
оно говорило «спасибо».

Сто часов счастья,
чистейшего, без обмана...
Сто часов счастья!
Разве этого мало?





* * *

Не знаю — права ли,
не знаю — честна ли,
не помню начала,
не вижу конца...
Я рада,
что не было встреч под часами,
что не целовались с тобой
у крыльца.
Я рада,
что было так немо и прямо,
так просто и трудно,
так нежно и зло,
что осенью пахло
тревожно и пряно,
что дымное небо на склоны ползло.
Что сплетница сойка
до хрипу кричала,
на все побережье про нас раззвоня.

Что я ничего тебе
не обещала
и ты ничего не просил
у меня.

И это нисколько меня не печалит, —
прекрасен той первой поры
неуют...

Подарков не просят
и не обещают,
подарки приносят
и отдают.





* * *

Одна сижу на пригорке
посреди весенних трясин.
...Я люблю глаза твои горькие,
как кора молодых осин,
улыбку твою родную,
губы, высохшие на ветру...
Потому — куда ни иду я,
и тебя с собою беру.
Все я тебе рассказываю,
обо всем с тобой говорю,
первый ландыш тебе показываю,
шишку розовую дарю.
Для тебя на болотной ржави
ловлю отраженья звезд...
Ты все думаешь — я чужая,
от тебя за десятки верст?
Ты все думаешь — нет мне дела
до озябшей твоей души?

Потемнело, похолодело,
зашуршали в траве ежи...
Вот уже и тропы заросшей
не увидеть в ночи слепой...
Обними меня, мой хороший,
бесприютные мы с тобой.





* * *

Почему говорится:
«Его не стало»,
если мы ощущаем его
непрестанно,
если любим его,
вспоминаем,
если —
это мир, это мы
для него исчезли.
Неужели исчезнут
и эти ели
и этот снег
навсегда растает?
Люди любимые,
неужели
вас
у меня не станет?



* * *

Дождик сеет, сеет, сеет,
с полуночи моросит,
словно занавес кисейный
за окошками висит.
А в лесу кричат кукушки,
обещают долгий век...
Мне не грустно
и не скушно,
я счастливый человек.
Из раскрытой настежь двери
пахнет глиной и травой.
А кукушкам я не верю,
врать кукушкам
не впервой!
Да и что считать без толку,
лишним годом дорожить?
ну недолго,
так недолго,
только б счастливо прожить.

Так прожить,
чтоб все, что снится, —
все сбывалось наяву,
так прожить,
чтоб петь, как птица,
так прожить,
как я живу!





* * *

Небо желтой зарей окрашено,
недалеко до темноты...
Как тревожно, милый,
как страшно,
как боюсь твоей немоты.
Ты ведь где-то живешь и дышишь,
улыбаешься, ешь и пьешь...
Неужели совсем не слышишь?
Не окликнешь? Не позовешь?
Я покорной и верной буду,
не заплачу, не укорю.
И за праздники,
и за будни,
и за все я благодарю.
А всего-то и есть:
крылечко,
да сквозной дымок над трубой,
да серебряное колечко,

пообещанное тобой.
Да на дне коробка картонного
два засохших с весны стебля,
да еще вот — сердце,
которое
мертвым было бы
без тебя.



•
•



* * *

Без обещаний
жизнь печальней
дождливой ночи без огня.
Так не жалея же обещаний,
не бойся обмануть меня.
Так много огорчений разных
и повседневной суеты...
Не бойся слов —
прекрасных, праздных,
недолговечных, как цветы.
Сердца людские так им рады,
мир так без них
пустынно тих...
И разве нет в них
вышей правды,
на краткий срок цветенья их?



* * *

Осчастливь меня однажды,
позови с собою в рай,
исцели меня от жажды,
подышать немного дай!
Он ведь не за облаками,
не за тридевять земель, —
там снежок висит клоками,
спит апрельская метель.
Там синее ельник мелкий,
на стволах ржавеет мох,
перепархивает белка,
будто розовый дымок.
Отливая блеском ртутным,
стынет талая вода...
Ты однажды
ранним утром
позови меня туда!

Я тебе не помешаю
и как тень твоя пройду...
Жизнь такая небольшая,
а весна — одна в году.
Там поют лесные птицы,
там душа поет в груди...
Сто грехов тебе простится,
если скажешь:
— Приходи!





ВАЛЬДШНЕП

Влетел он в полымя заката
и замелькал, и зачернел,
и не слышал,
как в два раската
гром над поляной прогремел.
Свинца горячие крупицы
ударили наперерез,
и люди радовались птице,
упавшей на землю
с небес.

Среди осин и елей мрачных,
зарывшись в прошлогодний лист,
лежал крылатый неудачник,
весны подстреленный связист.
И длинный клюв
торчал, как шильце,
из горстки пестрого пера...

Кто знал, что этим завершится
весны любовная пора?
Какая радость им владела,
как жизнь была ему легка,
и как бы я его жалела,
когда б не гордость
за стрелка!





* * *

Бывают весны разными:
стремительными, ясными,
ненастными и грустными,
с облаками грузными...
А я была бы рада
всякой,
любой,
только бы, только бы,
только бы с тобой.
Только б ветки влажные,
талая земля,
только хоть однажды бы:
«Хорошая моя!»
Только хоть однажды бы
щекой к щеке
да гудки протяжные
вдалеке...



* * *

Это было где-то
далеко вначале:
как скворцы кричали!
Как скворцы кричали!
Как кружило голову
апрельское тепло,
как по лесу голому
блестело, текло...
Но апрель доверчивый
метелью замело.
Снова стало к вечеру
белым-бело.
Одни следы чернели
от ботишков моих,
скворцы заоченели
в домишках продувных...
Теперь они летают,
теплом дыша.
А вот душа не тает.
Не тает душа.



ЛЕТО

Как пахнет пыль, прибитая дождем,
как поле дышит
сладостно и вольно...
А в мире существуют смерть и войны,
тоска и одиночество вдвоем.
Разлука тоже существует в мире:
гудок... три красные огня вдали...
И телефон журчит в пустой квартире,
как будто где-то на краю земли.
Звонит — и ни ответа, ни привета.
Слой пыли на столе. Дверь заперта.
Какое нескончаемое лето...
Какая духота и маета...
Наверное, клянут меня соседи
за эти бесконечные звонки.
Пыль на столе. Хозяева в отъезде.
А где-то — жаворонки, васильки...



* * *

Быть хорошим другом обещался,
звезды мне дарил и города.
И уехал,
и не попрощался.
И не возвратится никогда.
Я о нем потосковала в меру,
в меру слез горючих пролила.
Прижилась обида,
присмирела,
люди отступили
и дела...
Снова поднимаюсь на рассвете,
пью с друзьями, к случаю, вино,
и никто не знает,
что на свете
нет меня уже давным-давно.



ДОМ МОЙ — В СЕРДЦЕ ТВОЕМ

I

Знаешь ли ты,
что такое горе,
когда тугою петлей
на горле?
Когда на сердце
глыбою в тонну,
когда нельзя
ни слезы, ни стоны?
Чтоб никто не увидел,
избави боже,
покрасневших глаз,
потускневшей кожи,
чтоб никто не заметил,
как я устала,
какая больная, старая
стала...

Знаешь ли ты,
что такое горе?
Его переплыть
все равно что море,
его перейти
все равно что пустыню,
а о нем говорят
словами пустыми,
говорят:

«Вы знаете, он ее бросил...»
А я без тебя
как лодка без весел,
как птица без крыльев,
как растение без корня...
Знаешь ли ты, что такое горе?
Я тебе не все еще рассказала,
знаешь, как я хожу по вокзалам?
Как расписания изучаю?
Как поезда по ночам встречаю?
Как на каждом почтамте
молю я чуда:
хоть строки, хоть слова
оттуда... оттуда...

II

Мне казалось, нельзя,
чтоб «Выхода нет».
А вот оказалось, случается.
На год,
на два,
на десять лет
выхода нет!
А жизнь не кончается.
А жизнь не кончается все равно,
а люди встречаются,
пьют вино,
смотрят кино,
в автобусах ездят,
ходят по улицам
вместе... вместе...
Называют друг друга:
«Моя!»
«Мой!»
Говорят друг другу:
«Пойдем домой!»
Домой...
А ты мне: «Куда пойдем?»
У бездомных разве бывает дом?

III

Дом — четыре стены...
Кто сказал, что четыре стены?
Кто придумал, что люди
на замок запираются должны?
Разве ты позабыл,
как еловые чащи темны
и какие высокие звезды
для нас зажжены?
Разве ты позабыл, как трава луговая
мягка,
как лодчонку рыбачью
качает большая река,
разве ты позабыл
полыханье и треск
сушняка?
Неужели так страшно,
если нет над тобой
потолка?
Дом — четыре стены...
Ну, а если у нас их нет?
Если нету у нашего дома
знакомых примет,
ни окон, ни крыльца,
ни печной трубы,

если в доме у нас
телеграфные стонут столбы,
если в доме у нас,
громыхая, летят поезда?..
Ни на что, никогда
не сменяю я этой судьбы,
в самый ласковый дом
не войду без тебя
никогда.

IV

Помню первую осень,
когда ты ко мне постучал,
обнимал мои плечи,
гладил волосы мне
и молчал...
Я боялась тебя,
я к тебе приручалась с трудом,
я не знала, что ты
мой родник,
хлеб насущный мой,
дом!
Я не знала, что ты —
воскресение, родина, свет!..
А теперь тебя нет,
и на свете приюта мне нет!

Ты не молод уже,
мой любимый?
А я молода?
Ты устал, мой любимый?..
А я? — хоть бы день без труда,
хоть бы час без забот...
Все равно —
в самый ласковый дом
без тебя не войду...
Дом мой — это с тобою вдвоем,
дом мой — в сердце твоём!
Ты не думай, я смелая,
не боюсь ни обиды, ни горя,
что захочешь —
все сделаю, —
слышишь, сердце мое дорогое?
Только б ты улыбнулся,
только б прежним собой
становился,
только б не ушибался,
как пойманный сокол не бился...
...Знаешь ли ты,
что такое горе?
Его переплыть
все равно что море,

его перейти
все равно что пустыню,
да ведь нет другой дороги
отныне,
и нашлась бы — так я не пойду
другою...

Знаешь ли ты,
что такое горе?

А знаешь ли ты,
что такое счастье?





* * *

Всех его сил проверка,
сердца его проверка,
чести его проверка —
жестока, тяжка, грозна,
у каждого человека
бывает своя война.
С болезнью, с душевной болью,
с наотмашь бьющей судьбой,
с предавшей его любовью
вступает он в смертный бой.
Беды, как танки, ломаются,
обида рубят плеча,
идут в атаки бессонницы,
ночи его топча.
Золой глаза запорошены, —
не видит он ничего,

а люди: «Ну что хорошего?» — спрашивают его.

А люди — добрые, умные (господи им прости) — спрашивают, как думает лето он провести?

Ах, лето мое нескончаемое,
липки худенькие мои,
городские мои, отчаянные,
героические соловьи...
Безрадостных дней кружение,
предгрозовая тишина.
На осадное положение
душа переведена.
Только б, в сотый раз умирая,
задыхаясь в блокадном кольце,
не забыть —
Девятое мая
бывает где-то в конце.





УТРО

Вся ночь без сна...
А после, в роще, березовая тишина,
и все приемлее, проще,
и жизнь как будто решена.
Боль приглушенной, горе выше,
внимательней душа моя...
Я в первый раз воочью вижу:
не солнце движется —
земля.
Налево клонятся березы,
налево падают кусты,
и сердце холодеет грозно
на кромке синей пустоты.
Все так ничтожно — ссоры, споры,
все беды и обиды все.
Еще пустынно, знобко, сонно,
трава купается в росе.

Шмелиной музыке внимаю,
вникаю в птичью кутерьму...
Я прозреваю, понимаю,
еще чуть-чуть —
и все пойму.





ПИСЬМО

Просто синей краской на бумаге
неразборчивых значков ряды,
а как будто бы глоток из фляги
умирающему без воды.

Почему без миллионов можно?

Почему без одного нельзя?

Почему так медлила безбожно
почта, избавление неся?

Наконец-то отдохну немного.

Очень мы от горя устаем.

Почему ты не хотел так долго
вспомнить о могуществе своем?





КОСТЕР

Ни зяблика, ни славки, ни грача.
Стволы в тумане.
Гаснет день короткий.
Лесной костер
грызет сушняк, урча,
и греет нас — услужливый и кроткий.
Рожденное от хищного огня,
с орешником заигрывает пламя...
Ну, что молчишь? Что смотришь на меня
такими несчастливыми глазами?
Как много раз ты от меня бежал,
как много раз я от тебя бежала...
Мы жгли костер.
Гудит лесной пожар.
Не поздно ли спастись
от пожара?



Дорогая Вероника!

Пишу Вам под огромным впечатлением от Вашей новой книги, которую я только сегодня достала и прочитала.

Ваши стихи всегда были отмечены человечностью, чистотой, добротой, отсутствием позерства, поучительности и самолюбования, естественностью и высоким строем чувства. Но такой силы, как в этой книге, Вы не достигали никогда. Здесь такое могущество мужества, нежности, прямоты, беспощадности к себе, — в полноту дыханья, в полноту голоса, во весь размах души.

Эти стихи не ждет судьба трудная и несприютная — как Вы пишете о них. Они — более, чем все другие Ваши стихи — будут признаны и любимы и всегда дороги каждому, в ком есть живая душа. Русская народная поэзия сказалась в них легко и естественно, потому что это Ваша стихия, Ваше

родное. Это стихи своего времени, но в них такая даль, такая глубь России, так неуловимо и естественно звучит во многих мелодия русского сказа!

Меня потрясает и покоряет бесстрашие Вашего совершенно открытого сердца, бесстрашие доверия, нежности. Это могучие стихи, которые написаны навсегда. Написаны словами точными, незаменимыми. В этой книге мир Вашей поэзии, как никогда, светел, чист, могуществен и прекрасен.

Дорогой друг мой, от всего сердца хочу Вам здоровья.

Благодарю Вас не только за себя, но за многих, кого поразила Ваша книга.

Благодарю всей душой.

М. Петровых 7.6.65

Вероничка, родная!

Что ж это Вам взбрело в голову хворать, да еще на весну глядя?! Извольте поскорее исправить допущенные ошибки.

Мы Вас очень давно не видели по-настоящему и не слышали. А ведь за это время небось в живом потоке стихов столько новых излучин и новых плесов... Грешно забывать верных и любящих читателей-почитателей. Кстати, где-то на этих днях у меня своеобразный юбилей — 15 лет как увидел Вас впервые на телевизионном экране и мгновенно совер-

шенно средневеково влюбился в стихи и в автора. Выздоровливайте скорее — мы в этом году хотим опять наконец выбраться в Коктебель, а этот благодатный заповедник в моем представлении неотделим от Вас — давайте и в этом году поедем вместе. Ладно?

В больнице, конечно, невесело, особенно в эти начально-весенние дни. Но ведь у Вас есть могучая подруга — Ваша поэзия. Пришлите и нам стихи — те, которые сами захотите. Пожалуйста.

Вот уже пятый месяц нашего переделкинского сидения я все пишу о Брехте (книгу для «Жизни Замеч. Людей»), «брежу Брехтом», в эти дни в 20-х годах, восхищаюсь полетом Линдберга, мучусь и бешусь из-за Сакко и Ванцетти, увлечен первым планом пятилетки, и больно и горько от измены Чан-Кай-Ши.

А Брехт в это время пишет «Трехгрошовую оперу» и великолепные стихи. Все прошло — и полеты, и бои, и пятилетки, радости и страдания, а стихи остались. Очень это всегда укрепляет душу грустным и светлым сознанием — стихи-то в конечном счете оказываются самым сильным, важным, бессмертным, жизненно необходимым.

Ну вот видите, о чем бы ни писал, куда бы ни ехал, а все сворачиваю в литературоведческую колею. Верю, будет еще и поэтическое литературоведение. Было ж такое у Гейне, есть у Ахматовой-пушкинистки.

Что Вы об этом думаете?

И не забудьте хоть немножко стихов.
А главное — будьте здоровы.
Целую Вас нежно и почтительно.

Ваш Лев Копелев

Вероничка, дорогая, по собственному печальному опыту знаю, что это — лежать в больнице, очень Вас понимаю. Но, вот, я забыла, хотя и совсем недавно было это. Я все принимала так: произошла остановка, спешные дела отпали, все, что не давало подумать, вздохнуть, — все ушло, движется за этими стеклами окон, а меня не касается... А я, зато, могу, наконец, сосредоточиться, подумать о самом главном, о человеческой жизни, о душе, о всем, что самое дорогое.

Вы — поэт, у Вас, наверное, по-другому, Вам чаще — не то, что приходится обо всем этом думать, — просто нельзя без этого писать стихи... А все же и Вам, наверное, нужно временами отъединение.

Я помню Вас в Коктебеле, когда впервые увидела, на горных дорожках, и всегда окруженную большим количеством псов: первый и безошибочный признак хорошего человека. И очень красивую. Мне тогда поначалу показалось — недоступную. А потом это прошло.

Живем в Переделкине, много работаем, стараемся — хоть и без большого успеха — отъединяться. А может, и не надо стремиться? Что же может быть

лучше хороших людей? Нежно Вас обнимаю. Про нас всех одна моя приятельница сказала: собабки. Вы тоже моя со-бабка.

Выздоровливайте!

Ваша Рая Орлова

Дорогая Вероника!

Мы с Инной прочитали твою книжку и не можем не написать тебе, как она нам понравилась. Вообще, все последние годы ты — с каждым годом и с каждым сборником — пишешь все лучше, но эта маленькая книжечка не просто плавно, но резко лучше других, — такая она глубокая, человечная, тонкая (в смысле тонкости души, не объема) и поэтичная. В этой книге нет неудачных стихов, она вся удивительна и прекрасна. Это почувствовали и поняли все и — сразу! Б. Я. Шиперович рассказал мне, что типография недодала книготоргу 5 тыс. экземпляров! — они украдены по одному, по два экземпляра, расхищены читателями, работниками типографии. Четверть тиража! Он же сказал мне, что сам встречал там, в Туле, людей, приехавших в Москву (молодежь, студенты) специально в надежде на то, что им удастся достать твою книгу на месте. Вот такие пироги.

Нежно обнимаем тебя.

*Твои Костя и Инна
(Ваншенкин-Гофф) 19.6.65*

Дорогая Вероника Михайловна.

Не успела я сказать, что меня сильно интересует Ваша новая книга — как Вы уже ее прислали мне в подарок. Спасибо Вам большое за Вашу доброту, а главное, за самую книгу.

Удивительная, таинственная, каждый раз заново поражающая вещь — путь поэта. Ведь давно знаю Ваши стихи, давно и искренне многими люблю, знаю Ваш голос — правдивый и чистый, — но они так не трогали, не пронзали меня, как те, что собраны в Вашей новой книге. (Я назвала бы ее по-блоковски: «Радость-страданье».) Прежние я читала, хвалила и — расставалась с ними. С этими же, знаю, уже никогда не расстанусь. Они мне нужны, необходимы, они метко и беспощадно попадают в какую-то болевую точку, они делают Вашу боль нашей общей болью, читательской. Вы победоносно перешли грань — от простой искренности к искренности в искусстве. Грань эта узкая, волосяная, но от нее, видно, зависят пронзительность и долгая жизнь стиха.

...Поднял бы
и вынес бы из горя,
как людей выносят из огня.

Этого уже не забудешь, это совершенно, как точная, наполненная чувством и смыслом словесная формула...

...Вы написали чудесную книгу, правдивую, сильную, тревожащую, тревожную.

Слышала я, что Вы хвораете. Помните же: предстоит 9 мая — Вы это сами сказали. Желаю Вам, чтобы Вы победили болезнь, и чтобы Ваше новое 9 мая настало скорее.

Будьте здоровы. Спасибо Вам.

Ваша Л. Чуковская
20.6.65 Москва





* * *

Не о чем мне печалиться,
откуда же
слезы эти?
Неужели сердце прощается
со всем дорогим на свете —
с этим вечером мгlistым,
с этим безлистным лесом...
А мне о разлуке близкой
ничего еще не известно.
Все еще верю:
позже,
когда-нибудь...
В марте... в мае...
Моя последняя осень.
А я ничего не знаю.
А сны все грустнее снятся,

а глаза твои все роднее,
и без тебя оставаться
все немислимей!
Все труднее!





* * *

Глаза твои хмурятся,
горькие, мрачные,
тянется, курится
зелье табачное,
слоятся волокна
длинные, синие,
смотрится в окна
утро бессильное.
Сердце не греется,
дело не ладится,
жизнь драгоценная
попусту тратится.
Может быть, кажется,
может быть, чудится,
что ничего уже в жизни
не сбудется...
Думаю с грустью:
чего я стою?

На что гожусь я?
Место пустое!
Чего я стою
с любовью моею,
если помочь тебе
не умею?





* * *

Гонит ветер
туч лохматых клочья,
снова наступили холода.
И опять мы
расстаемся молча,
так, как расстаются
навсегда.
Ты стоишь и не глядишь вдогонку.
Я перехожу через мосток...
Ты жесток
жестокостью ребенка —
от непонимания жесток.
Может, на день,
может, на год целый
эта боль мне жизнь укоротит.
Если б знал ты подлинную цену
всех твоих молчаний и обид!

Ты бы позабыл про все другое,
ты схватил бы на руки меня,
поднял бы
и вынес бы из горя,
как людей выносят из огня.





* * *

Не охладела, нет,
скрываю грусть.
Не разлюбила —
просто прячу ревность.
Не огорчайся,
скоро я вернусь.
Не беспокойся,
никуда не денусь.
Не осуждай меня,
не прекословь,
не спорь
в своем ребячестве
жестоком...
Я для тебя же
берегу любовь,
чтоб не изранил насмерть
ненароком.



* * *

Так уж сердце у меня устроено —
не могу вымалывать пощады.
Мне теперь — на все четыре стороны...
Ничего мне от тебя не надо.
Рельсы — от заката до восхода,
и от севера до юга — рельсы.
Вот она — последняя свобода,
горькая свобода погорельца.
Застучат, затарахтят колеса,
вольный ветер в тамбуре засвищет,
полетит над полем, над откосом,
над холодным нашим пепелищем.





* * *

Все было до меня: десятилетия
того, что счастьем называем мы.
Цвели деревья,
вырастали дети,
чередовались степи и холмы,
за ветровым стеклом рождались зори
очередного праздничного дня,
был ветер,
берег,
дуб у лукоморья,
пир у друзей, —
все это без меня.
Моря и реки шли тебе навстречу,
ручной жар-птицей
в руки жизнь плыла...
А я плутала далеко-далече,
а я тогда и ни к чему была.

Ты без меня сквозь годы пробивался,
запутывался и сплеча рубил,
старался, добивался, любовался,
отпировал, отплакал, отлюбил...

Ты отдал все, что мог, любимой ради,
а я? —
всего глоток воды на дне,
сто скудных грамм в блокадном

Ленинграде...
Завидуйте,
все любящие,
мне!





* * *

Мне на долю отпущены
все недуги твои и невзгоды,
с холодами и тучами
дни уныния и непогоды.
Я беру, я согласна,
я счастлива долей моею,
уступаю все «ясно»
и всеми «ненастно»
владею!
Разжигаю костры,
и топлю отсыревшие печи,
и люблюсь, как ты
расправляешь поникшие плечи,
и слежу, как в глазах твоих
льдистая корочка тает,
как душа твоя пасмурная
рассветает и расцветает.

Ничего мне другого
не нужно, не нужно, не нужно,
хорошо, что так часто бывает
дождливо и вьюжно,

что порог твой то снегом,
то мертвой листвой
замечает,
хорошо, что так часто
меня тебе
не хватает!





* * *

Опять утрами — лучезарный иней
на грядках, на перилах, на траве.
Оцепененье.
Воздух дымно-синий.
Ни ласточки, ни тучки в синеве.
Сияющая обнаженность рощи,
лиловых листьев плотные пласты.
Наверно, нет
пронзительнее, проще
и одухотворенней красоты.

Все чаще думается мне с тоскою,
что впереди не так уж много дней.
Я прежде не любила Подмосковья.
Кого винить мне
в бедности моей?
А это все существовало. Было.
Лес. Первый иней. Талая вода.
Шел дождь.

Шиповник цвел.
Метель трубила.
...Я и тебя когда-то не любила.
Где я была?
Кто я была тогда?



Когда-нибудь вспомнишь,
себе не веря:
неужели летала,
мешала
пела?





* * *

Где-то чавкает вязкая глина,
и, как было во веки веков, —
разговор журавлиного клина
замирает среди облаков.
Тальники вдоль размытого лога
по колено в осенней грязи...
...Увези ты меня, ради бога,
хоть куда-нибудь увези!
Увези от железного грома,
от камней, задушивших меня.
Как давно не бывала я дома,
не видала живого огня.
Как давно я под сумраком хвойным
не бродила в намокшем плаще,
не дышала спокойно и вольно,
засыпая на верном плече.

Ах, дорога, лесная дорога!
Сколько этих дорог на Руси...
...Увези ты меня, ради бога,
хоть куда-нибудь увези!





* * *

Еду я дорогой длинной...
Незнакомые места.
За плечами сумрак дымный
замыкает ворота.
Ельник сгорбленный, сивый
спит в сугробах по грудь.
Я возницу не спросила —
далеко ли держим путь?
Ни о чем пытаться не стала, —
все равно, все равно,
пограничную заставу
миновали давно.
Позади пора неверья,
горя, суеты людской.
Спят деревни, деревья
в тишине колдовской.
В беспредельном хвойном море
беглеца угляди...

Было горе — нету горя, —
позади! Позади!
Русь лесная ликом древним
светит мне там и тут,
в тишину по снежным гребням
сани валко плывут.
Будто в зыбке я качаюсь,
засыпаю без снов...
Возвращаюсь, возвращаюсь
под родимый кров!





НАСЛЕДСТВО

Глухо шумят деревья
царства лесного...
Мне отпирают двери,
отодвигают засовы.
У крыльца — сугроб по колено,
в сенцах — кадка с водою...
Помогите мне, стены,
запах дыма и запах хвои,
помоги мне, вечер туманный, —
в этот мир незнакомый
вхожу я не гостьей званой —
дочерью незаконной.
Будьте великодушны,
отдайте мое наследство,
отдайте — мне очень нужно —
снег моего детства,
свет моего детства
на темных смолистых бревнах,

теплую память детства,
прибежище душ бездомных.
Не пожалейте, отдайте
дочери незаконной
это старое мамино платье,
этот снежный мрак заочный.
Отдайте мне этот фикус,
этот пышный китайский розан...
Никак я с мыслью не свыкнусь,
что поздно все это, поздно...
Тоскую я, и ревную,
и плачу, и снова, снова
воду пью ледяную
из ковшика жестяного.





* * *

Вот говорят: Россия...
Реченьки да березки...
А я твои руки вижу,
узловатые руки,
жесткие.
Руки от стирки сморщенные,
слезами горькими смоченные,
качавшие, пеленавшие,
на победу благословлявшие.
Вижу пальцы твои сведенные, —
все заботы твои счастливые,
все труды твои обыденные,
все потери неисчислимые...
Отдохнуть бы,
да нет привычки
на коленях лежать им праздну...
Я куплю тебе рукавички,
хочешь — синие, хочешь — красные?

Не говори «не надо», —
мол, на что красота старухе?
Я на сердце согреть бы рада
натруженные твои руки.
Как спасенье свое держу их,
волнения не осия.
Добрые твои руки,
прекрасные твои руки,
мать моя, Россия!





ЗВУКИ ДОМА

Все очень легко и странно,
знакомо и незнакомо.
Я просыпаюсь рано,
слушаю звуки дома:
дрова перед печкой брошены,
брякнул дверной замок,
одна за другой
картошины
падают в чугунок.
Торжественный и спокойный
звук наполняет дом,
словно дальний звон
колокольный:
дон! дон! дон!
Гремит печная заслонка,
трещит береста в огне,
стучат торопливо, ломко
ходики на стене.
Лежу, ни о чем не думая,
слушаю, как легки

старческие, бесшумные,
войлочные шаги.
Страшно пошевелиться мне:
слушаю не дыша —
поскрипывает половицами
дома душа.





ПОЛНОЛУНИЕ

Стемнело. По тропинкам снежным
хозяйки с ведрами пошли.
Скрипят таинственно и нежно
колодезные журавли.
Смех, разговор вдоль длинных улиц,
но враз пропали голоса,
и словно бы плотней сомкнулись
кольцом дремучие леса.
Я прохожу пустой деревней,
я выхожу за крайний дом.
Мир обретает облик древний
в сиянье млечно-золотом.
А небо-то и вправду купол!
С непостижимой вышины
стекают медленно и скупю
лучи невидимой луны.
Они переполняют тучи,
просачиваются в снега,

они бесплотны, вездесущи,
они — веками... на века...
Нездешнее сиянье льется,
мерцают срубы в глыбах льда,
и смутно светится в колодцах
животворящая вода.





* * *

О, эти февральские вьюги,
белесый мятущийся мрак,
стенанья и свист по округе,
и — по пояс в снег, что ни шаг...

О, эти ночные прогулки,
уходы тайком со двора,
дремучей души закоулки,
внезапных открытий пора.

Томящее нас ощущение,
что вдруг — непонятно, темно —
раздельное мыслей течение
вливается в русло одно.

И все растворяется в мире
кипящих лесов и снегов,
и счастье все шире и шире,
и вот уже нет берегов!



МЕЛЬНИЦА

Стоит в сугробах мельница,
ничто на ней не мелется,
четыре с лишним месяца
свистит над ней метелица...

От ветра сосны клонятся,
от снега ветви ломаются,
спит омут запорошенный
под коркой ледяной,
на мельнице заброшенной
зимует водяной.

До самой этой мельницы
два лыжных следа стелется,
у самой этой мельницы
дорога на две делится:
ты идешь направо,
я иду налево...

Никогда обратно
не вернусь, наверно!

А зима-то кончится,
капелью снег источится,
весна польется балками,
распустится фиалками,
заблещет омут под луной,
спросонья крикнет водяной,
от счастья ошалевшие,
опять запляшут лешие,
и светляки засветятся,
и жернова завертятся,
и соловьи рассыпятся
по чащам, зазвеня...
...Да ты-то к речке выйдешь ли?
Услышишь ли, увидишь ли
все это без меня?





ПОЮТ ПЕТУХИ

Я все о своем, все о своем —
знаешь, когда поют петухи?
Перед рассветом,
перед дождем,
перед весной
поют петухи.
За полночь выйду
в снег, в тьму...
Спит мое счастье
в теплом дому.
Снег под ногами
летит, свистит
в черном разводе
звезда блестит...
Хорошо, что пурга,
хорошо, что звезда,
хорошо, что не ходят сюда

поезда,
что с самого неба —
леса, леса,
что случаются все-таки
чудеса!

Где-то далеко запел петух, —
наверно, сейчас около двух.
Снега глубоки.
ночи глухи,
наверно, к весне
поют петухи.





ЛИСТВЕННИЦА

Снег мерцает полночью лунной,
то светлея, то потухая...
Признайся — разве ты думал,
представлял, что она такая?
Сбросив свое сожженное
стужею одеяние,
стоит она, обнаженная,
не дерево — изваяние.
Как стремительна в блеске тусклом
ветвей ее долгих сила,
какой красотой нерусской
лиственница красива.
Древним востоком веет
от начертанных тушью линий,
глядят глаза и не верят
яркости их незимней.

В сердце моем поныне
облик ее летящий
в небесной светлой пустыне
над деревенькой спящей.





* * *

Ты все еще тревожишься — что будет?
А ничего. Все будет так, как есть.
Поговорят, осудят, позабудут —
у каждого свои заботы есть.
Не будет ничего...
А что нам нужно?
Уж нам ли не отпущено богатств:
то мрак, то свет, то зелено, то выюжно,
вот в лес весной отправимся, бог даст...
Нет, не уляжется,
не перебродит!
Не то, что лечат с помощью разлук,
не та болезнь, которая проходит,
не в наши годы...
Так-то, милый друг!
И только ночью боль порой разбудит,
как в сердце — нож...

Подушку закушу
и плачу, плачу,
ничего не будет!
А я живу, хожу, смеюсь, дышу...





* * *

Не боюсь, что ты меня оставишь
для какой-то женщины другой,
а боюсь я,
что однажды станешь
ты таким же,
как любой другой.

И пойму я, что одна в пустыне, —
в городе, огнями залитом,
и пойму, что нет тебя отныне
ни на этом свете,
ни на том.





* * *

Вот уеду, исчезну,
на года, навсегда,
кану в снежную бездну,
пропаду без следа.

Час прощанья рисую,
гладкий след от саней...
Я ничем не рискую,
кроме жизни своей.





РАСКАЯНИЕ

Я не люблю себя такой,
не нравлюсь я себе, не нравлюсь!
Я потеряла свой покой,
с обидою никак не справлюсь.

Я не плыву — иду ко дну,
на три шага вперед не вижу,
себя виню, тебя клянусь,
бунтую, плачу, ненавижу...

Опамятуйся, просветлей,
душа! Вернись былое зренье!
Земля, пошли мне исцеленье,
влей в темное мое смятенье
спокойствие твоих полей!

Дни белизны... чистейший свет...
живые искры снежной пыли...
«Не говори с тоской — их нет,
но с благодарностью — были».

Все было — пар над полыньей,
молчанье мельницы пустынной,
пересеченные лыжней
поляны ровности простынной,
и бора запах смоляной,
и как в песцовых шубах сучья,
и наводненное луной
полночной горницы беззвучье...

У всех бывает тяжкий час,
на злые мелочи разъятый.
Прости меня на этот раз,
и на другой, и на десятый, —
ты мне такое счастье дал,
его не вычтешь и не сложишь,
и сколько б ты не отнимал,
ты ничего отнять не сможешь.

Не слушай, что я говорю,
ревнуя, мучаясь, горяя...
Благодарю! Благодарю!
Вовек
не отблагодарю я!





* * *

У всех бывают слабости минуты,
такого разочарованья час,
когда душа в нас леденеет будто
и память счастья
покидает нас.

Напрасно разум громко и толково
твердит нам список радостей земных:
мы помним их, мы верить в них
готовы —
и все-таки не можем верить в них.
Обычно все проходит без леченья,
помучит боль и станет убывать,
а убивает
в виде исключенья,
о чем не стоит все же
забывать.



* * *

Ну пожалуйста, пожалуйста,
в самолет меня возьми,
на усталость мне пожалуйся,
на плече моем усни.
Руку дай, сводя по лесенке,
на другом краю земли,
где встают, как счастья вестники,
горы дымные вдали...
Ну пожалуйста, в угоду мне,
не тревожься ни о чем,
тихой ночью сердце города
отопри своим ключом.
Хорошо, наверно, ночью там —
темнота и тишина...
Мы с тобой в подвале сводчатом
выпьем местного вина.
Выпьем мы за счастье трудное,
за дорогу без конца,

за слепые, безрассудные,
неподсудные сердца...
Побредем по сонным дворикам,
по безлюдным площадям,
улыбаться будем дворникам,
будто найденным друзьям.
Под платанами поблекшими
будем листьями шуршать,
будем добрыми, хорошими,
будем слушать осень позднюю,
радоваться и дышать!





* * *

Наверно, это попросту усталость, —
ничто ведь не проходит без следа.
Как ни верти,
а крепко мне досталось
за эти неуютные года.
И эта постоянная бездомность,
и эти пересуды за спиной,
и страшной безнадежности бездомность,
встававшая везде передо мной.
И эти горы голые,
и море
пустынное,
без паруса вдали,
и это равнодушие немое
травы и неба,
леса и земли...
А может быть, я только что родилась,
как бабочка, что куколкой была?

Еще не высохли, не распрямились
два беспощадно скомканных крыла?
А может, даже к лучшему, не знаю,
те годы пустоты и маеты?
Вдруг полечу еще
и засверкаю,
и на меня порадуешься ты?





В САМОЛЕТЕ

Молчали горы — грузные и грозные,
ощеря белоснежные клыки.

Свивалось их дыхание морозное
в причудливые дымные клубки.

А в синеве, над пеленой молочной,
как божий гром

«Ту-104» плыл,
уверенный в себе,

спокойный, мощный,

слепя глаза тяжелым блеском крыл.

Он плыл над неприступной цитаделью
отвесных скал,

лавин,

расселин,

льда...

Он неуклонно приближался к цели
и даже без особого труда.

Следила я, как дали он глотает, —
цель! Только цель! — и больше ничего.
И думала:
как сердцу не хватает
непогрешимой точности его.





ЗВЕЗДА

Река текла
тяжелая, как масло,
в ней зарево закатное
не гасло,
и я за блеском неба и воды
не разглядела маленькой звезды.
Померкла гладь
серебряная с чернью,
затихла птичья сонная возня,
зажгли костер...
И звездочки вечерней
не разглядела я
из-за огня
Истлели угли,
теплый и густой,
распространился сумрак по откосу...
Я за багровой искрой папиросы
звезды не разглядела
золотой.

Потом окурок горький затоптали,
погас последний уголь,
и тогда,
я увидала, что из дальней дали
мне в сердце смотрит
вечная звезда.





СНОВИДЕНИЕ

Вижу сон: у окошка
сидишь ты в бревенчатом доме,
подаешь мне сережки
на старушечьей темной ладони.
Два грошовых цветочка,
со стеклянной сердцевиной,
и тоскливо мне, точно
я не в гости пришла,
а с повинной.
И тревожно мне, будто
какое-то горе нависло,
будто эти минуты
исполнены тайного смысла.
Ты напомнить мне хочешь?
Так я ж ничего не забыла,
все, что я полюбила,
я раз навсегда полюбила...

Но навечно, навечно
таежная глушь между нами,
бесконечные версты
с полями,
лесами,
снегами.

Никогда не приеду,
заволгую дверь не открою,
твои старые плечи
пуховым платком не укрою,
не скажу тебе доброго слова,
не приласкаюсь...
О, как я пожалею когда-нибудь,
как я покаюсь!





* * *

Сколько же раз можно терять
губы твои, русую прядь,
ласку твою, душу твою...
Как от разлуки я устаю!
Холодно мне без твоей руки,
живу я без солнца и без огня...
Катятся воды лесной реки
мимо меня... мимо меня...
Старые ели в лесу кряхтят,
к осени тише птичья возня...
Дни твои медленные летят
мимо меня... мимо меня...
С желтых берез листья летят,
и за моря птицы летят,
и от костра искры летят
мимо меня... мимо меня...
Скоро ли кончится — мимо меня?

Скоро ли вечер долгого дня,
плащ и кошелку- — и на вокзал,
как приказал ты,
как наказал...
Будет, ах будет лесная река,
кряканье утки, треск сушняка,
стены тесовые, в окна луна,
и тишина, тишина, тишина...
Буду я гладить русую прядь,
сердце твое целовать, отворять,
будут все горести пролетать
мимо меня... мимо меня...





* * *

Как часто лежу я без сна в темноте,
и все представляются мне
та светлая речка
и елочки те
в далекой лесной стороне.
Как тихо, наверное, стало в лесу,
раздетые сучья черны,
день убыл — темнеет в четвертом часу, —
и окна не освещены.
Ни скрипа, ни шороха в доме пустом,
он весь потемнел и намок,
ступени завалены палым листом,
висит заржавелый замок...
А гуси летят в темноте ледяной,
тревожно и хрипло трубя...
Какое несчастье
случилось со мной —
я жизнь прожила
без тебя.



* * *

Много счастья и много печалей на свете,
а рассветы прекрасны,
а ночи глухи...

Незаконной любви
незаконные дети,
во грехе родились они —
это стихи.

Так уж вышло, а я ни о чем не жалею,
трачу, трачу без удержу душу свою...
Мне они всех рожденных когда-то милее,
оттого что я в каждом тебя узнаю.
Я предвижу заране их трудную участь,
дождь и холод у запертых глухо дверей,
я заране их долгой бездомностью мучусь,
я люблю их — кровиночки жизни моей.
Все равно не жалею.
Мне некогда каяться.

Догорай, мое сердце, боли, холодей, —
пусть их больше от нашего счастья останется, —
перебьются!

Земля не без добрых людей!





* * *

Сутки с тобою,
месяцы — врозь...
Спервоначалу
так повелось.
Уходишь, приходишь,
и снова
и снова прощаешься,
то в слезы, то в сны
превращаешься,
и снова я жду,
как во веки веков
из плавания женщины ждут
моряков.
Жду утром, и в полдень,
и ночью сырой,
и вдруг ты однажды
стучишься: — Открой! —

Тепла, тяжела
дорогая рука...
...А годы летят,
как летят облака,
летят-пролетают,
как листья, как снег...
Мы вместе — навек.
В разлуке — навек.





ЧЕРЕМУХА

Дурманящей, росистой чащею
черемуха —
дыши, гляди,
ласкай, ломай...
И боль щемящая —
как мало весен впереди!
А стоит ли уж так печалиться,
прощаясь с миром дорогим?
Ничто на свете не кончается,
лишь поручается другим.
Другим любовь моя завещана,
в других печаль моя горька...
Сто тысяч раз
другая женщина
все пронесет через века.
Ничто не пропадет, не минется.

Все праздничнее, все милей
цветет черемуха —
любимица
покойной матери моей.





СОДЕРЖАНИЕ

Вероника Тушнова. О поэзии 5

Мне мало звезд, мне лучших песен мало

Голуби	15
Стихи о гудке	17
Капитаны	20
Старый дом	23
«Нынче детство мне явилось...»	25
«У каждого есть в жизни хоть одно...»	27
«Еще шуршат, звенят и шепчут капли...»	29
«Резкие гудки автомобиля...»	30
Ночь	31
«Да, ты мой сон...»	32
Тропинка	33
«И знаю все...»	34
«Помню празднество...»	35

Сон	36
«Всплески мерныс...»	38
«В альбомчике школьном...»	39
Прощанье	41
«Я помню, где-то, далеко вначале...»	43
«Память сердца!..»	44

**И пахнет резедой и летом,
как до войны,
как год назад...**

Ночная тревога	49
Кукла	51
В Кудинове	53
Ночь (<i>Зима 1942 г.</i>)	55
Яблоки	58
«Словно засыпающий ребенок...»	60
«Ты ложишься непривычно рано...»	62
Дорога	64
Разлука	66
Осень	68
Мать	70
Хирург	73
Письмо	75
«Летел сквозь бурю лунный круг...»	77
«В оцепененье стоя у порога...»	79
«Спокойный вечер пасмурен и мглист...»	81
<i>Из цикла «Стихи о дочери»</i>	
I. «Душная, безлунная...»	82
III. «Ты счета не ведешь годам...»	83

IV. «Вагон бросало и качало...»	84
V. «Тревога. Грусть...»	85
VII. «А круг все ширится...»	86
Салют	87
Беженец	89
Городок	91
В лесу	92
Птица	93
Костер	94
Домой	96
«Вот и город. Первая застава...»	98

**Только мне не солгать бы
ни в чем, никогда, никому!**

«Сколько милых ровесников...»	101
«Насыпает камешки в ведерки...»	103
«Уходит день...»	104
Прибой	105
Станция Баладжары	106
Бессонница («Кряхтели рамы...»)	108
Прощайе...	110
Из Вероники Порумбаку (<i>с румынского</i>)	
Летний дождь	112
Судьба	112
Зеленые рощи	114
Первое слово	115
Твержу себе...	115
Ты великая, моя любовь	116

Из окна вагона	118
Мы праздник встречали в дороге	120
Ожидание...	122
«Биенье сердца моего...»	124
«Не отрекаются любя...»	125
«Открываю томик одинокий...»	127
Из Десанки Максимович	
<i>(с сербскохорватского)</i>	
Мы не виноваты	128
Песня о покинутом ребенке	129
Воспоминание о родине	131
«Так было, так будет...»	133
«Жизнь твою читаю...»	135
«Всегда так было...»	137
«Счастливо и необъяснимо...»	139
Я желаю тебе добра	140
«А знаешь, все еще будет!...»	142
«Сколько дней...»	144
Синяя птица	145
«Я пенять на судьбу не вправе...»	146
«Хмурую землю стужа сковала...»	147
Самолеты	149
«Нам двоим посвященная...»	151
Птицы, листья и снег	153
«Морозный лес...»	155
«Как счастье внезапное...»	157
«И живешь-то ты близко...»	159
«Все в доме пасмурно и ветхо...»	161
«Что-то мне недужится...»	163

Шишка	165
«Сияет небо снежными горами...»	167
«День был яркий, ветренный...»	168
Осень в Крыму	170
Тень	174
«Не сули мне золотые горы...»	176
«Шагаю хвойною опушкой...»	178
«Я прощаюсь с тобою...»	180
«Мне говорят...»	182
«Пускай лучше ты не вступишь меня...»	184
«Не опасаясь впасть в сентиментальность...»	185
«А может быть, останусь жить?...»	186
«Человек живет совсем немного...»	188
«Терпеливой буду, стойкой...»	189
«Нельзя за любовь — любое...»	190
«Знаю я бессильное мученье...»	191
«За водой мерцает серебристо...»	193
Звезда	195
Полдень	196
«Над скалистой серой кручей...»	198
«Просторный лес...»	200
«Ты ножик вынул не спеша...»	202
«Все равно ведь, поздно или рано...»	203
Дагестанская ночь	204
«Пусть друзья простят меня...»	206
«Спор был бесплодным...»	207
«Бывало все...»	209
«Я поняла...»	210

«Лес был темный, северный...»	212
«Там далёко, за холмами синими...»	214
«Письма я тебе писала...»	215
Голубка	217
«Будет, будет, будет дом...»	218
«Я люблю выдумывать страшное...»	219
На море	220
«Поблескивает полотно...»	222
Вертушинка	224
Погода плохая	226
Бессонница (« <i>Ночи... ночи... пустынные, синие...»</i>)	228
«Зачем судьбу который раз пытаешь?..»	230
«И вот ты купе закрываешь...»	232
«Нам не позволено любить...»	234
Снова Литве!	237
«Я без тебя училась жить...»	239
«Я стою у открытой двери...»	240

Сто часов счастья

«Сто часов счастья...»	243
«Не знаю — права ли...»	245
«Одна сижу на пригорке...»	247
«Почему говорится...»	249
«Дождик сеет, сеет, сеет...»	250
«Небо желтой зарей окрашено...»	252
«Без обещаний жизнь печальней...»	254
«Осчастливь меня однажды...»	255
Вальдшнеп	257

«Бывают весны разными...»	259
«Это было где-то...»	260
Лето	261
«Быть хорошим другом обещался...»	262
Дом мой — в сердце твоём...	263
«Всех его сил проверка...»	270
Утро	272
Письмо	274
Костер	275
«Не о чем мне печалиться...»	283
«Глаза твои хмурятся...»	285
«Гонит ветер...»	287
«Не охладела, нет...»	289
«Так уж сердце у меня устроено...»	290
«Все было до меня...»	291
«Мне на долю отпущены...»	293
«Опять утрами — лучезарный иней...»	295
«Помнишь, как залетела в окно синица...»	297
«Где-то чавкает вязкая глина...»	299
«Еду я дорогой длинной...»	301
Наследство	303
«Вот говорят: Россия...»	305
Звуки дома	307
Полнолуние	309
«О, эти февральские вьюги...»	311
Мельница	312
Поют петухи	314
Лиственница	316
«Ты все еще тревожишься...»	318

«Не боюсь, что ты меня оставишь...»	320
«Вот уеду, исчезну...» :	321
Раскаяние	322
«У всех бывают слабости минуты...»	324
«Ну пожалуйста, пожалуйста...»	325
«Наверно, это попросту усталость...»	327
В самолете	329
Звезда	331
Сновидение	333
«Сколько же раз...»	335
«Как часто лежу я без сна в темноте...»	337
«Много счастья...»	338
«Сутки с тобою...»	340
Черемуха	342



Литературно-художественное издание
Тушнова Вероника Михайловна
СЕРДЦЕ ЧИЩЕ РОДНИКА

Ответственный редактор *В. Жукова*
Художественный редактор *А. Новиков*
Компьютерная графика *Г. Булгакова*
Технический редактор *В. Бардышева*
Компьютерная верстка *В. Азизбаев*
Корректор *О. Благова*

В оформлении переплета использована картина
художника *А. Герасимова*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:

109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2.

Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16.

Многоканальный тел 411-50-74. E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:

117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 932-74-71.

127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел. (095) 745-89-15, 780-58-34

www.eksmo-kanc.ru e-mail: kanc@eksmo-sale.ru

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо» в Москве:

Москва, ул. Маршала Бирюзова, 17 (м. «Октябрьское Поле»). Тел. 194-97-86.

Москва, Пролетарский пр-т, 20 (м. «Кантемировская»). Тел. 325-47-29.

Москва, Комсомольский пр-т, 28 (в здании МДМ, м. «Фрунзенская»).

Тел. 782-88-26.

Москва, ул. Сходненская, д. 52 (м. «Сходненская»). Тел. 492-97-85.

Москва, ул. Митинская, д. 48 (м. «Твшинская»). Тел. 751-70-54.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 23.07.2004
Формат 60x90¹/₃₂. Гарнитура «Петербург». Печать офсетная

Бум. тип. Усл. печ. л. 11,0

Тираж 5 000 экз. Заказ № 3913

Отпечатано с готовых диапозитивов во ФГУП ИПК
«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14